РОВЕСНИК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА

№ 6/83
Июнь



Фото АПН

В НОМЕРЕ:

«БОМБА И Я» И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, СМ. НА СТР. 6—17

ISSN 0131—5994

21—26 июня в Праге собирается всемирная ассамблея «За мир и жизнь, против ядерной войны».

Г. ЛОКШИН,
секретарь Советского комитета защиты мира

Идея проведения крупной международной встречи представителей всех политических и общественных сил мира, выступающих за предотвращение ядерной катастрофы и прекращение гонки вооружений, встретила самый положительный отклик на всех континентах планеты. Всемирная ассамблея за мир и жизнь, против ядерной войны состоится 21—26 июня в Праге. До этого момента в Женеве продолжает работать Международная рабочая группа, в задачу которой входит изучение и обобщение всех поступающих предложений относительно характера предстоящей ассамблеи, ее содержания, порядка работы. Работой этой группы руководит известная канадская общественная деятельница, генеральный секретарь Международной лиги женщин за мир и свободу Эдит Балантайн. Также во многих странах были созданы и работали национальные подготовительные комитеты, которые стремились установить самое широкое сотрудничество с различными организациями и движениями за мир. В задачу таких комитетов входит и сбор средств для обеспечения участия своих делегаций в ассамблее.

Какой предполагается ассамблея?

Это должен быть открытый и откровенный диалог, то есть именно то, что так необходимо всем участникам самой великой битвы за мир. Только организовать такой диалог оказалось далеко не просто. На каждом этапе работы сказывались глубокие различия в мотивах участия различных общественных сил в общем движении за мир, противоречивые подходы к решению сложных международных проблем. Дают себя знать и закоренелые предрассудки — тяжелое наследие долгих лет «холодной войны». И, пожалуй, самое главное — это ожесточенное противодействие мощного пропагандистского аппарата, поставленного на службу силами реакции и войны. Враги разрядки на протяжении всей подготовительной работы стремились не допустить сотрудничества различных миролюбивых сил, ослабить их совместные действия, расколоть и противопоставить друг другу.

В целях дискредитации мощного движения общественности за мир и разоружение правящие круги США и ряда других стран НАТО усиленно пытаются представить действия миллионов людей, поднявшихся на защиту своего первейшего права — права на жизнь, как результат «коварных происков» Москвы. Нет ничего более далекого от истины, чем это нелепое утверждение. Не «рука Москвы», а голос разума и совести, осознание величайшей угрозы, нависшей над человечеством, долг перед нынешним и грядущими поколениями — вот что движет сотнями тысяч людей, вышедших на улицы и площади в США, ФРГ, Японии и в десятках других стран мира. Их голос не удастся заглушить никому.

Миролюбивые силы противопоставляют усилиям милитаристской пропаганды свой опыт сотрудничества, опыт успешных инициатив. Нам оказывает помощь положительный результат Всемирного конгресса миролюбивых сил, который проводился в Москве в 1973 году.

Ожидается, что в работе ассамблеи примут участие около трех тысяч человек. Предполагается провести диалог раздельно по одиннадцати темам с участием всех желающих делегатов. Названы следующие темы, которые необходимо затронуть в обсуждении. Это проблемы борьбы против гонки ядерных вооружений и угрозы ядерной войны; общие проблемы разоружения; европейская безопасность и разоружение; мирное урегулирование конфликтов; преодоление экономических, социальных и психологических последствий гонки вооружений; региональные аспекты военной безопасности на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке; воспитание подрастающего поколения в духе мира; роль ООН в борьбе за мир. Отдельный форум обменяется опытом практических действий. Все дискуссии решено ориентировать на выработку конкретных предложений о совместных действиях.

Программа ассамблеи предусматривает создание женского дискуссионного центра и молодежной деревни, где представители женских, молодежных и студенческих организаций смогут обстоятельно обмениваться мнениями. Будут встречи врачей, ученых, религиозных деятелей, воспитателей, военных, деятелей культуры, парламентариев, журналистов, предпринимателей, спортсменов и других. Останется свободное время и для незапланированных дискуссий и встреч.

Есть основания надеяться, что форум в Праге даст мощный импульс борьбе за мир, которую ведут миллионы людей доброй воли.

Всякий раз, когда милитаристы замышляют неправое дело, лицом к лицу сталкиваются армия и народ. Не впервые на итальянской земле, опутанной сетями НАТО, простые люди Италии выступают против навязываемой им перспективы войны. Они не просят мира — они требуют его, как эти крестьяне с острова Сардиния во время маневров войск НАТО, проходивших по их полям, как тысячи и тысячи других итальянцев, протестующих сегодня против размещения американских ядерных ракет в Комизо на Сицилии.
Фото Адриано МОРДЕНТИ

— Почему сегодня борьба за мир становится все больше личным делом для многих? Почему в борьбу вовлекаются люди, прежде несклонные к активности, бывшие далекими от политики или даже провозглашавшие равнодушие к событиям в мире как свой принцип? Можно, конечно, сказать, что каждый человек думает о войне как об угрозе собственной жизни прежде всего. Но очевидно, что такого объяснения недостаточно. Нельзя также ограничиться указанием на стремительный рост угрозы, потому что тогда пришлось бы участие в антивоенных демонстрациях рассматривать как демонстрацию паники. А это означало бы унижение борьбы!

— Правильно, согласна. Борьба, о которой мы говорим,— это действия, не связанные со страхом смерти. Несмотря на то, что мы боремся против войны, то есть против гибели людей, смерти. Наша борьба — это часть нашей жизни. Так — в такой форме — мы решаем проблему собственного достоинства. А это ведь личное дело! Да, борьба за мир сегодня — борьба за человеческое достоинство. Страх унизителен. Беспомощность, апатия страшны.

Невозможно обойтись без портрета Жослин Пантэ, в разговоре с которой возникла эта тема. Прежде всего потому, что человек из демонстрации — это сама Жослин Пантэ, член Национального совета Движения коммунистической молодежи Франции. Ясно, что она непремен-



ДОСТОИНСТВО ДЕМОНСТРАНТОВ

С. ТИЩЕНКО,
наш спец. корр.

ный участник крупных демонстраций, акций и выступлений французской коммунистической молодежи, их организатор и активист. Во-вторых, облик Жослин — хорошая иллюстрация к тому, что она говорит, потому что, например, в ней видно достоинство и заметна независимость, которой мы коснемся позже. Жослин Пантэ представляет в разговоре ДКМФ, поэтому тоже интересно, какая она. Итак, вот запись беседы, а вот портрет собеседника, чтобы читатель представлял себе человека, который говорит вещи, достаточно хорошо ему известные и раньше, и за достаточно хорошо известными вещами увидел лицо, личность этого человека, лично занимающегося этими вещами.

У Жослин Пантэ длинные и ярко накрашенные ногти, и ей двадцать три года. Ногти — это первое, что всем бросается в глаза. О ней сказали так:

— Француженка? Ее сразу можно узнать: у нее ногти.

Кстати, переводчицы тоже красили, но застенчиво, невызывающе. А у Жослин были вызывающие. Было похоже, что она выложилась в накрашивание ногтей: волосы были прямые и небрежные. Она ходила в сапогах, отвернутых у коленей, потому что они были задуманы как закрывающие колени, а это неудобно при сгибании ног. На заседании политического «круглого стола» семинара[1] она однажды рассмеялась одна. Но действительно было смешно что-то. Больше никто не рассмеялся. Жослин не смутилась. Когда пришло время ее выступления, она придвинула себе страничку с тезисами, царапнув листок.

[1] *Международный семинар журналистов демократических молодежных изданий Европы состоялся в Минске в молодежном центре «Юность». В программе были дискуссии и доклад, посвященные борьбе молодежи за мир и освещению этой борьбы в молодежной прессе.*

— В мире ежегодно тратится около 300 миллиардов долларов на вооружение. Это тридцать тысяч больниц на восемнадцать миллионов больничных коек. Или это шестьсот тысяч новых школ — четыреста миллионов мест за школьными столами! Затраты на вооружение, предпринимаемые в мире, во много больше средств, расходуемых на развитие общества. При таком соотношении средств, поддерживающих силы созидания и силы разрушения, невозможно, трудно говорить о перспективах прогресса, мира, развития и расцвета общества. Поэтому Движение коммунистической молодежи Франции солидар-

но со всеми сторонниками мира на планете, независимо от их политических убеждений. Мы поддерживаем марши мира в любой точке земного шара! Борьбу за мир ДКМФ считает своей важнейшей задачей. С этой борьбой мы связываем борьбу за права молодежи, которую мы ведем во всех областях, доступных действиям ДКМФ. Самой крупной акцией ДКМФ, по всей видимости, будет наш Фестиваль мира, который пройдет в рамках традиционного праздника «Авангарда» — печатного органа ДКМФ. На прошлом празднике «Авангарда» мы собирали подписи под нашим мирным требованием. А осенью в Париже была проведена крупнейшая демонстрация за мир, и в ней приняли участие отряды молодежи, организованные ДКМФ.

Мы продолжили разговор после заседания.

Жослин продолжила:

— Наша молодежь очень мало знает о суммах, расходуемых на вооружение. Поэтому я говорила о них в своем выступлении. Некоторые считают, что цифры плохо доходят до сознания и что нужно действовать как-то иначе. Как? Мы все время думаем об этом. Перед началом работы над каждой демонстрацией возникает этот вопрос: как?

— Почему это имеет значение? Разве мирные демонстрации должны быть привлекательны?

— Да,— сказала Жослин без улыбки.— Это важно, потому что самое опасное — формально проводить такие демонстрации. Это вреднее, чем если бы совсем не проводить их.

— Давайте начнем с самого начала,— сказала я.— Как начинается работа.

— Хорошо! — обрадовалась Жослин, отчего стало ясно, что сама работа приносит ей радость.— С чего начинается работа? Она начинается с того, что ДКМФ выносит решение о демонстрации. От того, насколько широкий характер мы придадим ей, зависит успех работы. Прежде всего — информация. О демонстрации должен знать каждый член ДКМФ. Но этого мало. Он обязан рассказать о предстоящей акции всем своим знакомым. Так, например, в конторе, где я работаю...

— А где ты работаешь?

— О,— сказала Жослин,— я работаю на такой работе, которая могла бы показаться мне страшно скучной, если бы у меня не было ничего в жизни, кроме нее. Я занимаюсь финансами в одной конторе. В общем, это учебное заведение... Но я не скучаю! Я говорю себе, что это дает мне деньги — не самое важное, но важное! — и — самое важное! — возможность говорить с людьми. Да. Я работаю с восьми до пяти и очень стараюсь, потому что иначе меня не станут отпускать по моим личным делам. Но об этом после. Итак, каждый рассказывает о демонстрации как можно большему числу людей. Это работа. Ее надо сделать хорошо. Каждый момент в подготовке демонстрации надо отработать хорошо. Плакаты. Иногда мы их выпускаем на фабрике, иногда рисуем. Например, когда во Франции проходил Марш мира, мы провели конкурс рисованных плакатов и лучшие плакаты вывешивали.

— Где вывешивали?

— Везде. Где реклама. Где объявления.

— Не мешает плакат рекламе?

— Ну что же,— беспечно сказала Жослин.— Мешает. Приходит сторож, снимает, наклеивает рекламный плакат. Приходим мы — вешаем свой. Мы не боремся против рекламы. Нам хватает заборов и стен. Второе — листовки. Их должно быть много. Плакат может прочесть сто человек, а листовку один. Но без листовки нельзя — она личное обращение.

— А по квартирам не ходите?

— Уже нет,— сказала Жослин.— Все реже и реже. Да, раньше стучали, объясняли. Но это... это иначе действует на людей. Человек не должен идти на демонстрацию по приглашению. Он должен сам. Вот прочел на плакате, листовку нашел в почтовом ящике — подумал и решил. Когда стучишь в его квартиру, он не чувствует себя самостоятельно принявшим решение. Это что-то психологическое. Но это надо учитывать! И потом в таком стучании в двери уже отпадает необходимость. Людям уже не надо много рассказывать про бомбы.

— Но, может быть, человек настолько наслышан о бомбах, что уже не может больше о них слушать?

— И это может быть. Человек привыкает и к рассказам, и к выступлениям на митингах, и к нашим плакатам. А нам надо обязательно тронуть сердца людей. Многих— всех! Мы думаем: как тронуть? Вывешиваем очень яркий плакат в самом людном месте и смотрим: читают — не читают? Просто яркие плакаты могут не вызвать никаких чувств, как не вызывает чувств просто яркая реклама (но я не против рекламы!). Но и самый удачный плакат, как самая блестящая остроумная реклама, может оставить совершенно равнодушным, например, молодого человека только потому, что он настолько одинок, что не смотрит вокруг вообще. И все, что вокруг него, у него вызывает только раздражение. Такого человека не нужно тащить на наши дела — его надо разбудить. Демонстрация — это конкретная цель. Но и подготовка к ней — важная работа. Именно в подготовке демонстрации особенно виден каждый.

— Вы придаете большое значение дисциплине, тщательно распределяете обязанности?

— Только среди активистов. Понятие дисциплины не может подойти к нашей работе среди всей молодежи города, района. Можно даже сказать, что слово «дисциплина» лучше не произносить, говоря о такой работе. Нам надо разбудить их, увлечь, а не спешно «организовать». Никто не должен думать, что его «организовывают», ведут куда-то, чуть ли не против его воли. Ведь у молодых людей так много проблем. Работа. Цель в жизни. Невозможность хоть сколько-нибудь культурно развиваться, сносно проводить время. Особенно это касается девушек, я этим занимаюсь в комитете, поэтому для меня это больная тема. Если человек бывает нравственно задет, унижен, обеспокоен ежедневно, если он не может сам справиться со своими проблемами — его не нужно беспокоить обязанностями, которые его не спасут. Такому человеку надо дать возможность выступить, выговориться, встретиться — увидеть, что он не один. Мир — это очень понятное дело. Молодые люди в большинстве своем — за мир. Но когда начинаешь призывать их участвовать в борьбе за мир, вдруг оказывается, что с этим связано такое множество проблем личности!

— Почему их надо решать, организовывая демонстрацию против бомб?

— Потому что в демонстрации за мир, строго говоря, не может участвовать слабый, плохо себя чувствующий морально человек. Униженный, смирившийся, опустившийся — вот что я имею в виду.

— Поэтому подготовка к демонстрации, наверное, занимает много времени?

— Поэтому она идет всегда,— сказала Жослин.— Она даже не зависит от времени демонстрации. Всегда идет.

— Можно сказать, что толпа и демонстрация состоят из разных людей?

— Это совершенно разные лица! — воскликнула Жослин.— Я расскажу об этом, но сначала закончу о подготовке к демонстрации. Наступает такой день, когда мы отправляем в префектуру просьбу о проведении демонстрации. В некоторых случаях мы должны отказаться от такой обязательной формы проведения демонстрации. Это те немногие случаи, когда мы — Движение коммунистической молодежи Франции — нарушаем закон, проводя демонстрации. Так было, например, когда мы устроили манифестацию перед зданием посольства Израиля. Это было тогда, когда началась агрессия в Ливане. Ни у кого не было сомнения, что такую демонстрацию провести необходимо и как можно скорее. Но, разумеется, глупо было бы испрашивать мнение префекта полиции на этот счет: разрешения не будет. В этом случае мы полагаемся на собственную дисциплину, способность хранить тайну, собираем только активистов и проверенных товарищей и так далее. Ни о каких плакатах, извещающих о готовящемся действии, не может быть и речи. Нам надо как можно больше успеть сделать, прокричать и высказать...

— Прежде чем?..

— Прежде чем мы будем окружены полицией!

— И что тогда?

— Что тогда? Мы же нарушаем закон — и мы уходим. Дело-то сделано. Если мы успели, конечно. Но чаще работа бывает простая, с разреше-

нием, и самая трудная, конечно!

— Трудная потому, что перед посольством государства, развязавшего агрессивную войну, было легче представлять себе тех, против кого вы?

— И это тоже. Но ведь всякая демонстрация, организуемая нами, адресована главным образом к самим демонстрантам. Демонстрация действует вовне и внутрь — на тех, кто ее наблюдает, — это одни люди, и на тех, кто в ней идет. Это другие люди.

— Вот мы вернулись к понятию достоинства демонстрантов.

— Мои родители коммунисты, и у меня никогда не было проблем с ними. Также я не замужем пока, и у меня нет семейных проблем. Я так хорошо устроилась в жизни, что те люди, с которыми я провожу время — скажем, иду в кино! — они тоже в ДКМФ и заняты тем же, что и я. Так я не разрываюсь между личным и общественным. Я сижу на работе... Я просыпаюсь утром, втискиваюсь в наш автобус и так удобно становлюсь, чтобы за те полчаса, пока он волочится к моей остановке, почитать. Я читаю «Юманите», конечно! Но не потому, что я гений самодисциплины, а просто надо еще попробовать читать что-то другое в нашем издерганном автобусе. Я сижу на работе. Я еду с работы — и встречаюсь с друзьями, с которыми у меня тоже нет особенных проблем. Иногда я думаю, что надо бы заняться гимнастикой или начать немного краситься... и я не понимаю, насколько я счастлива!

Я поняла это летом в Париже. Это случилось среди бела дня в толпе людей.

Нет, это была не толпа!

Толпа тебя затягивает, заставляет думать так, как она, заставляет отказаться от того, о чем ты только что мечтал.

В толпе ты оглядываешься и понимаешь, что жизнь прожита.

А я шла среди людей, которые были лучше меня, и, главное, я была с ними лучше и так же прекрасна, как они. Мне было хорошо с ними. Кто они были? Они смеялись и пели. Они пили кофе прямо на улице, наливая его друг другу из термосов, расплескивая его на мостовую, и посторонние отскакивали, как от кипятка, но снова придвигались ближе к нам, потому что к нам людей влекло. Нам было так радостно. Для того чтобы начать путь той группе, где была я, надо было ждать четыре часа. Это ожидание никто не воспринял как наказание. Именно потому, что мы жили полной жизнью в эти минуты и в эти четыре часа.

Я до сих пор храню, но не как засушенный цветок, конечно, то ощущение силы, свободы и молодости, которое было во всех и во мне летом в Париже, когда по Парижу шел Марш мира.

Для меня это ощущение важно, потому что я участвую во всех демонстрациях ДКМФ, но раньше я чувствовала себя в них иначе. Наверное, потому, что я была слишком занята ответственностью за что-то. Поэтому не обращала внимания на то, что дает — дарит — человеку его жизнь внутри демонстрации. Я сейчас знаю, что это жизнь особенная. Что она способна по-своему воспитать человека, принести ему радость и уберечь от гибели, разочарования. Что это? Это чувство братства. Это понимание справедливого дела. Откуда сила? Оттого, что вместе. Почему так оригинальны были лица?

— ...Я трезво смотрю на вещи, и именно такой взгляд позволяет мне видеть реальное продвижение моего и нашего дела.

— Понятно. Но радость во время марша людей по Парижу — это, может быть, конечно, правильное, истинное, но все-таки временное ощущение людей, объединенных сегодня, на время сегодня. В чем же заключается продвижение дела, если не перечислять цифры, не называть количество участников демонстраций, митингов протеста, число подписей? Какие изменения в стремлении людей участвовать, бороться, действовать произошли, как ты говоришь, на твоих глазах?

— Борьба, действие, активность стали связываться — не у всех, а у тех, кто действует, стремится действовать,— с представлением о радости. Радость же — форма проявления достоинства, если она вызывается достойным делом. Мне кажется, что некоторое время назад такой подход к активности не был принят. Не думаю, чтобы я ошибалась, но интересно: совсем недавно был моден пессимистический взгляд на жизнь, а «бегство от жизни» считалось чуть ли не хорошим стартом, а вовсе не плохим финалом жизни, и в то же время активные личности тоже, правда с другой целью, отказывались от наслаждения жизнью. Активисты превращались в «функционеров». И вот на последнем съезде ДКМФ в восьмидесятом году решено бороться против такого взгляда на жизнь, принята как бы новая «модель» молодого человека. И это человек, для которого жизнь во всех ее проявлениях представляет важную, важнейшую ценность! Да, во время мирной демонстрации я поняла наконец, что такое наслаждение жизнью! Но разве раньше я не могла испытывать то же счастье?

— Что же, выходит, плохо не позволять себе собой гордиться?

— Плохо! Когда человек совершает что-то полезное, честное, когда он борется, он обязан быть счастливым, испытывать счастье! Он обязан делать счастливыми и остальных.

— Можно представить себе радостного безработного...

— А я знаю многих ребят, которые никогда не имели работы, и самое страшное, что для них их духовные перспективы были закрыты. ДКМФ организовало для них прекрасные каникулы — несколько дней они провели в СССР, в лагере дружбы на Минском море. Они преобразились. Они стали развиваться, участвовать в делах ДКМФ, думать, бороться, действовать! Почему? Потому что радость может быть лучшей пропагандой. Некоторые до сих пор не нашли работы, но восстанавливается их достоинство. Я говорю так уверенно, потому что они сами называли минский лагерь причиной перемены в себе. И я сама понимаю, что, например, без ДКМФ я была бы совсем другой. Хуже. Глупее. Была бы одинока. Даже если бы не была одинока! И как бы меня угнетали долгий путь к автобусной остановке, ожидание автобуса, давка — ведь единственно это было бы моей жизнью!

А для многих, особенно девушек, я начала заниматься их проблемами недавно — это и есть жизнь. Недостаточно им лишь сказать: «Ступайте к нам, у нас интересно, мы живем по-другому». Потому что просто этого нельзя внушить. Надо будить. Ведь, с другой стороны, нельзя и так сказать: «Ты живешь недостойно себя, мой друг».

— Многих устраивает их жизнь.

— Да, но только потому, что они не знают чувства настоящей радости!

— Хорошо. А какова цель такой политики?

— Какова цель воспитания человека с чувством собственного достоинства?.. Впрочем, новая «модель» была принята неспроста. Она была принята прежде всего в качестве средства борьбы с такой страшной болезнью, как наркомания. Наркомания — следствие отказа от жизни, неверия в нее. Мы стали бороться не со следствием, а с причиной. И уже сейчас ясно, что мы боремся успешно. В этом видно проявление достоинства, ну а что решит по этому поводу наше общество, еще неизвестно, потому что работы все равно не хватает... Поэтому я так старательно работаю на моей работе, которая может радовать только в день зарплаты! ДКМФ не признается как организация, члены которой имеют право на освобождение от работы, скажем, в день демонстрации. Поэтому мне всегда приходится работать немного впрок, и поэтому мне приходится отпрашиваться и вообще сохранять наилучшие отношения со всеми. Мне не противно с ними, а скучно!

— А бывает совсем скучно, плохо?

— Еще как! Тогда я думаю, мои друзья, вы меня простите, если я оставлю ДКМФ на самое маленькое время и уеду. Я уеду, чтобы отдохнуть по-настоящему. Я махну куда-нибудь, а потом расскажу. Я не могу больше видеть даже ваши милые лица. Вы, конечно, без меня немного обойдетесь, что там у нас впереди? Фестиваль, суд над империализмом, шум на всю Францию либо миллион листовок? В конце концов, каждый из нас имеет право на такую — вот такую! — собственную личную жизнь. Они меня прощают.

— И ты уезжаешь? Куда?

— Да никуда! — сказала Жослин, сидя в теплых сапогах.— Я боюсь надолго уехать. Никуда не еду. Злюсь — и не еду!

I WANT TO LIVE
IN PEACE!

DISARM
THE WORD

CHILDREN'S CAMPAIGN
FOR

смотрите:

Они пришли сюда с плакатами, которые сделали сами: «Немедленно остановите гонку ядерных вооружений!», «Не разрушайте единственный мир!», «Я хочу жить!» Здесь, напротив Белого дома, участники организации «Дети за ядерное разоружение» зачитали тысячи писем американских детей президенту Рейгану с требованиями мира для всех детей Земли. Мы рассказывали об этих письмах (см. «Ровесник» № 4, 1983 год), а снимки, которые вы видите, пришли несколько позже — № 4 «Ровесника» уже вышел. Вот почему мы публикуем их сейчас.





БОМБА И Я

Нина ЧУГУНОВА
Фото Е. СТЕЦКО

— Расскажи, кто ты и что произошло с тобой.

— Меня зовут Висам, сейчас мне семь лет. Когда мне было шесть лет, к нам пришла бомба, и тогда умерли мама и сестра.

— Что значит — пришла бомба?

— Я думаю, что она упала с самолета. Потом мне сказали, что все бомбы бросают с самолетов или руками издалека.

— Вспомни, как это было.

— Я хотел идти в школу и умывался, а мама готовила кабачки. Потом пришла бомба, и я стал бегать и кричать. Мама увела меня из дома, а сама пошла искать сестру, потому что сестра была маленькая и она спряталась. Она не знала, что в доме нельзя прятаться от бомбы. Мама бегала по дому и звала мою сестру, а я стоял на улице, потому что мама не разрешила мне искать сестру вместе с ней. И дом упал на маму.

— В вашем доме жили еще люди?

— Да, наш дом был большой, и там жило много людей. На них упал дом.

— Ты думаешь, что не все спаслись?

— Это был ранний час, и многие были дома, потому что так было всегда, когда я шел в школу. Дом упал на людей, я это знаю.

— Ты не один ходил в школу. Где теперь твои друзья?

— Да, мы ходили в школу втроем из нашего дома. Я, Усама и Мухаммед. Усама и Мухаммед умерли.

— Когда?

— В тот же день.

— Кто сказал тебе об этом?

— Никто. Я это знаю.

— Как ты это узнал?

— Я видел. Усама и Мухаммед стояли рядом со мной, когда мама пошла в дом опять. Мама сказала, чтобы мы ушли далеко от дома. Но мы не знали, куда идти, и стояли. Когда упал дом, мы упали. Я видел, как умерли Усама и Мухаммед.

— Наверно, была еще одна бомба.

— Не знаю. Мне сказали, что все произошло от бомбы. Поэтому я все время думал только об одной бомбе.

— Зачем ты думаешь о бомбе?

— Я думаю, какая она.

— Ты никогда не видел бомбу?

— Нет, никогда. Но в госпитале, куда привез меня кто-то, я смотрел по телевизору, как падают дома. Также я видел солдат, которые стреляют в людей. Мне сказали, что это война.

— Что тебе раньше говорили о войне?

— Ничего. Мама ничего не знала о войне и о бомбах. Иначе она рассказала бы мне. Я это знаю точно. Потому что мама мне рассказывала все, что

знала сама. И она говорила мне, что я буду знать все, как только вырасту и смогу разбираться в жизни сам. Мы рисовали с ней дома и людей...

— Расскажи, что было потом.

— В госпитале, куда привезли меня сначала, было много людей, у которых раны. Мои ноги положили в гипс и еще в ноги поставили спицы. (Последнее слово он произносит по-русски.) Я не мог ходить из-за этого. Я лежал и смотрел телевизор. Люди, которые были со мной в госпитале, мучились сильнее, чем я, потому что они кричали, а я не кричал. Так я пролежал две недели, и ко мне никто не пришел. Тогда меня положили на носилки и понесли к самолету, который летел очень долго. В самолете я хотел спросить, откуда из самолета падает бомба, но потом мне стало плохо. Потом меня везли на машине и привезли в новый госпиталь. Моего нового врача звали Александр Сергеевич. Он был хороший человек. Со мной в палате лежали другие дети, из Бейрута нас было трое. Остальные дети были тоже с руками или ногами в гипсе, но я узнал, что они поранились в игре. Александр Сергеевич относился ко мне хорошо, он говорил мне правду. Например, он сказал, что мне будет еще больно, а раньше мне никто этого не говорил, все только смотрели на меня. И Александр Сергеевич сказал, что я должен терпеть, потому что я мужчина и у меня слишком много проблем, чтобы плакать. И он не говорил, что взрослые никогда не плачут. Так я понял, что он знает о моей маме. Я думаю, что он знал о войне. Мне потом хотелось спросить его, из чего состоит бомба.

— Что ты делал в больнице?

— Я смотрел в окно и ждал операцию. Из окна я видел солнце и дерево, его верхушку. Дерево покрылось снегом. Мне сказали, что я научусь бросаться снегом и бегать по снегу. Я поверил. Мне сделали четыре операции.

— Тебе сказали, что было четыре операции?

— Нет, я сам считал, и все время старался не забыть. Я стал забывать то, что я считал, я забыл, сколько дней. Но на каждую операцию я стал откладывать какую-нибудь вещь в угол тумбочки. Мне сказали, что операций будет несколько. Я думал, что несколько — это три. Но была еще четвертая. Когда мне говорили, что я должен хорошенько выспаться и не думать о плохом, я понимал, что утром будет операция, и придумывал, какой вещью ее запомнить. Под руками у меня были яблоки. Утром приходил Александр Сергеевич и говорил, что придется потерпеть еще. Я решил, что больше не выдержу, но тут операции кончились, и Александр Сергеевич сказал мне, что больше их не будет. Я поверил ему. Хорошо, что я терпел, как обещал. Но я не люблю наркоза и не люблю, когда наркоз надевают мне на лицо и заставляют дышать. После наркоза мне бывает плохо.

Однажды меня привезли так после операции, и мне стало плохо. Я лежал и видел, как один маленький ребенок встал и начал ходить, потому что ему сняли гипс. Я увидел, как этот ребенок хочет прыгать, и увидел, что он совсем не боится прыгать, хотя раньше он упал и повредился оттого, что неудобно прыгнул. Я думал о том, как ему хорошо, и лежал так долго, пока не наступила ночь. Тогда мне приснился сон. Раньше мне никогда не снились сны.

— Расскажи этот сон.

— Мне приснилась мама в красном платье. Она пришла, говорила и увела меня домой. Мы как будто перешли какую-то дорогу и пришли в наш дом. Я забыл, что говорила мне мама, и теперь думаю, что она говорила, наверное: «Пойдем отсюда!» С этого дня я стал каждый вечер так вспоминать маму. У нее было любимое зеленое платье, в котором она с папой уходила в гости, или когда был мой день рождения...

— Когда твой день рождения?

— Я забыл. Голос мамы не могу вспомнить. Я думаю, что я могу совсем забыть маму, если не буду ее вспоминать каждый вечер. Поэтому я стал пробовать ее нарисовать.

— Ты можешь показать рисунки?

— Нет, я не покажу рисунки никогда.

— Почему?

— Это мои рисунки.

— Никто не возьмет их у тебя.

— Нет.

— Хорошо. Продолжай.

— Когда мне разрешили встать, я встал и пошел без палки.

— Ты захотел идти без палки?

— Я все время думал, как я пойду без палки.

— Ты мог упасть.

— Нет, я никогда бы не упал, потому что я ходил медленно.

— И ты кидался снегом?

— Да, я кидался снегом! Я очень люблю кидаться снегом. Меня даже ругали за это, потому что я научился падать в снег и от этого сделался мокрый. Мне сказали, что я от снега могу заболеть. Но я не поверил. Я не могу заболеть, я знаю это. Я пробовал даже есть снег, но никому не говорил.

— Тебя сильно ругали за снег?

— Не сильно. Они ругали и смеялись.

— Наверное, это были самые хорошие дни?

— Я так думал, но потом нас повезли в «Артек». Там было лучше. Там было море. Мы купались три раза в день.

— Какой день в «Артеке» был лучший?

— Лучший день в «Артеке» был каждый день. Но самый лучший был тот, когда вожатые посадили меня в автобус и повезли по горам и никто не знал, что мы уехали, потому что все спали. Мы катались свободно, и я видел море с высоты, так что оно было внизу перед нами. Мы поднимались и все время кружились... Они сказали, чтобы я не говорил, как они меня катали, и я честно им обещал.

— У тебя появились друзья?

— Да, много.

— А самый лучший?

— Один.

— Кто он?

— Я скажу только, что это девочка из Азербайджана, но имя не назову, хорошо? Я очень ждал письма, когда вернулся в Москву. Письмо пришло.

— Скажи только, как начинается письмо?

— Как начинается?.. Оно начинается: «Здравствуй, дорогой Усама».

— Но тебя ведь зовут иначе.

— Можно так и так. Мама звала меня Усамой.

— Чему ты научился в «Артеке»?

— Всему.

— Расскажи чему.

— Петь, танцевать, плавать в море, рисовать, сочинять сказки.

— Какая сказка твоя любимая?

— Это сказка о зайце, который бегал от бомбы.

...— Ты умеешь рисовать зайца?

— Да. Я умею рисовать зайца и солдата.

— Висам, разве ты не перестал думать о бомбе?

— Нет. Но зато я теперь знаю, из чего она состоит.

— Тебе рассказали?

— Нет, я понял сам. Бомба состоит из огромного полиэтиленового мешка. Внутри мешка вода. Когда бомба падает, получается такой звук, который я слышал. Я пробовал с маленьким пакетом и понял, что все так. Только звук сильнее, когда все лопается.

— Ты рассказал это друзьям?

— Нет.

— Почему?

— Мне показалось, что они знают это. Но если не знают, лучше не говорить, чтобы они не начали бояться.

— А о войне они знают?

— Да. Они спрашивали, не кончилась ли у нас война. Они видели по телевизору.

— Висам, что ты знаешь о тех людях, которые бросили бомбу?

— Ничего не знаю. Но бомбу бросил Израиль. Это я знаю.

— Что такое Израиль, по-твоему?

— Это солдаты, я всегда узнаю их, если встречу: у них железные шляпы.

— Нет, ты не прав. Израиль — это страна.

— Страна? Значит, там живут дети? И их мамы? Солдаты убивают их?

— Висам, у солдат тоже есть мамы.

— Нет. У солдат нет мам.

— Ты же всегда хочешь знать правду, так?

— Да... И мамы говорят им: «Идите убивайте»?

— Не все зависит от них. Я не думаю, что от мамы зависит то, что делает человека плохим.

— ...то есть вором и пьяницей?

— Что ты сказал?

— Плохой человек — это вор и пьяница. Так говорила мама.

— А кто еще плохой человек?

— Больше плохих людей нет.

— А солдаты?

— ...я не знаю. Мне сказали, что они звери. Я все время думал, что они не настоящие люди.

— Висам, если бы тебе встретился человек, который руководит солдатами, что бы ты сделал?

— Я постарался бы объяснить ему, что бомбы попадают на дома. Я попросил бы его запретить солдатам стрелять в людей. Такой человек один?

— Допустим, что такой человек только один.

— Одному объяснить легче.

— Другие говорят, что его надо убить.

— Убить? Нет. Убивать нельзя. Я не могу. Нет. Нет.

— Прости, но так говорят и дети. Например, из Бейрута. Они хотят стать солдатами, чтобы стрелять.

— Они хотят стать партизанами. Я видел партизан. Они несли меня к самолету. Это хорошие люди. Я это видел. Я не думаю, что партизаны могут бросать бомбу на дом. Они против солдат. Мальчик, который лечился со мной в Москве, его зовут Имат Хусейн, хочет стать партизаном. Он тоже теперь один. Он говорит, что научится стрелять. Но я не смогу стрелять. Я думал об этом. Нет.

— Что ты думаешь о себе, хороший ли ты человек?

— Да. Особенно сначала я был хорошим человеком. В последнее время я стал хуже. Когда дети играют, мне хочется мешать им. Я научился драться. Я стал немножечко нехороший. Я стал злой. Но когда я вырасту, я стану лучше.

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

— Хирургом. Я хочу лечить руки.

— Почему руки?

— Руки в человеке самое главное. Руками можно рисовать, писать письма и лечить других людей. Ноги же нужны только для того, чтобы бегать и играть.

— Зачем так рассуждать? Пусть ничего не болит.

— Но если война, надо скорее начинать лечить что-нибудь одно, так ведь?

— Ты хотел бы спасать людей первым из всех врачей?

— Да, конечно. Я знаю, что нужно говорить человеку, которому больно... «Терпи,— сказал бы я ему,— я скажу тебе, сколько именно надо терпеть. Честное слово, я тебя не обману ни на один день». И я знаю, что при этом надо торопиться спасать человека. Мне сказали, что тот, кто принес меня, очень торопился. И тот, кто поставил спицы... Я бы хотел вылечить русского человека. Врач Юсеф Матрук сказал, что меня спасли советские врачи в детской больнице. Я это знал без него и выучил слово «здравствуйте», которое стал говорит им, врачам. Я думал, кого больше — врачей или солдат? Тогда я решил стать врачом.

— ...пока идет война?

— Нет, я буду врачом всю жизнь. Ведь дети часто падают играя.

— Висам, что ты любишь больше всего?

— Л ю д и. (Это слово он произносит по-русски.)

О рисунках этих детей

Жузе СЕРРА (Португалия), студент МГУ

Я увидел эти рисунки случайно у одного моего товарища по университету в комнате московского общежития студентов. Рисунки были укреплены на толстых больших листах картона. Так всегда поступают с рисунками детей, готовя их к выставке: ведь дети рисуют на чем попало, чаще всего на маленьких листках бумаги. Детям не нужны пока холсты для того, чтобы они написали то, что они думают. И дети не размышляют над техникой. Поэтому считается, что дети — гениальные мастера.

Рисунки были прикреплены к картонным листам по два — на большом коричневом листе два маленьких ярких пятна. Если бы я увидел эти рисунки на выставке, то я бы, наверное, успел, приближаясь к ним, еще подумать, что могли нарисовать эти дети. И я мог бы успеть предположить, что именно нарисовали эти дети, и, возможно, яркость цвета на этих рисунках меня смутила бы, и я ошибочно предположил бы, что на рисунках привычные детские сюжеты.



Авторы рисунков (по часовой стрелке): Умар КАНИО, 12 лет; Удад РАМАЗАН, 13 лет; Лейла ХАСАН, 14 лет; Хусин ХАЗИМА, 7 лет.

— Почему?

— У всех людей разные глаза. Я люблю на них смотреть. Люди хорошие. Я видел только хороших. Даже вора я не видел никогда.

— Есть ли у тебя мечта, желание?

— Я помню, что раньше я хотел иметь цепочку на шею, как все в нашем дворе. Теперь я не хочу ее. Я не хочу ничего иметь. Когда я был в «Артеке», я видел в море корабль. Он был очень далеко. Тогда я захотел полететь домой и спросить...

— Что спросить?

— «ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ?»

— Пожалуйста, нарисуй что-нибудь.



Я не успел предположить или ошибиться, потому что темные листы твердого картона лежали прямо передо мной. Я увидел то, что на них было, прежде чем задумался.

Я упросил товарища дать мне рисунки ненадолго и повез их в редакцию, чтобы попросить их опубликовать как можно скорее. Я вез их тогда, когда в Москве собирался дождь. Я очень боялся за рисунки. До утра их заперли в сейфе.

Я не могу сказать, гениальны ли эти дети.

Я не могу сказать, насколько свободны они в технике.

Я ничего не могу сказать по поводу искусства.

Правда, что дети рисуют лишь то, что они хорошо знают. Так они рисуют сказки, потому что этот мир им хорошо известен. Все говорят, что они фантазеры. Но они еще не различают свой мир и мир, который видят.

Тогда говорят, что они гениальны и что это исчезает с возрастом. Так, будто дети, взрослея, перестают понимать мир. Может быть. Конечно, это сильное обвинение взрослым... зато остаются детские рисунки, и дети продолжают рисовать. Это бесконечно! ▶





— Что?

— Например, нарисуй себя самого.

— Себя?!

...И он засмеялся первый раз за весь разговор. Смеялся, пока рисовал. Старался, чтобы было похоже. Нарисовал солнце. Написал: «Висам. Солнце». Потом долго мучился, пририсовывая еще что-то. Начинал это рисовать заново. Долго вспоминал, как пишется название. Написал тоже по-арабски. Сказал, что сделал ошибку в слове. Спросил, похоже ли. Засмеялся опять. Попросил перевести, он не хочет показывать остальные рисунки не из-за жадности. Те рисунки неудачны. Например, мама. Она была очень красивой. У него пока не получается похоже. Он истратил много листов. Все спрятал. Он будет рисовать и прятать, пока не получится. То, что он нарисовал сейчас, действительно получилось похоже. Он дарит нам этот рисунок.

Вот он. Висам. Солнце. Несколько попыток нарисовать бомбу. Ошибка в слове «бомба», написанном с помощью доктора Юсефа.

Комментарий доктора Юсефа Матрука:

— У Висама Мухаммеда Хамами ранение обеих ног. Две недели в бейрутском госпитале «Газа». Потом лечение в Москве. Когда его несли к самолету, опасность осложнения уже была ясной. Осложнение, которое могло возникнуть, называется остеомиелит. Иначе говоря, воспаление, гной. В госпитале «Газа» предотвратить это было невозможно. В Москве лечение прошло без осложнений. Медленно, долго, но правильно, спокойно. Конечно, причина этого — квалификация врачей. Также важна атмосфера детской больницы. ООП приносит благодарность всем врачам Третьей травматологии больницы имени Русакова за спасение детей: Висама, семи лет, Имата Хусейна Райта, одиннадцати лет, и шестнадцатилетней Хиям Ибрахим Вакит. После окончания основного лечения дети нуждались в большом курсе физиотерапии, необходимость в которой почти совсем отпала после пребывания детей в «Артеке», в лагере «Озерный». ООП благодарит лагерь «Озерный» за спасение детей. Дети начали смеяться. Труднее всего было с Висамом. Но он тоже стал смеяться и играть. Самая старшая из них, Хиям, хотела бы научиться стрелять и вернуться домой, чтобы погибнуть «за отнятую у палестинцев родину». Письма, направленные на поиски родственников Висама, остались без ответа. Вполне возможно, что никого нет в живых. Хиям получила последнее письмо из дому 30 мая прошлого года... Что будет с детьми в дальнейшем? Висам начал немного понимать русский и может сказать несколько фраз. Пока он лежал в больнице, он начал забывать некоторые арабские слова. Иногда с ним бывает трудно, потому что он требует правды во всем. Где и когда он начнет учиться? Что из него получится?

Бомба, о которой говорил Висам, была сброшена на его дом в Бейрутском районе Факагани. Это, очевидно, была одна из первых бомб, с которых началось планомерное бомбовое уничтожение района.

На некоторое время, пока решается судьба детей, я взял их к себе в комнату университетского общежития (которую я занимаю с семьей как аспирант 2-го медицинского института). Мальчики катаются на маленьком велосипеде по коридору. Они едва не сбили с ног старушку. Старушка пожаловалась моей жене. Жена пришла ко мне. Но я не мог их ругать.

ПОТОМУ ЧТО Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО С НИМИ БУДЕТ ЗАВТРА.

Разговор с врачом Александром Сергеевичем Кузиным, который лечил детей из Бейрута

Врач (читая запись беседы с мальчиком). Он так и сказал: п р и ш л а бомба?

Корреспондент. Да.

— Я имею в виду просто, как слово употреблено.

— Дело в том, что он некоторые слова и даже фразы говорил по-русски. «Пришла бомба» — это было по-русски.

— Ну конечно! Он же прекрасно начал говорить по-русски. Отлично стал говорить. Хиям — нет. Она вообще молчаливая очень. Знаете, я не могу рассказать об одном Висаме. Я только обо всех могу говорить, ничего?

— Пожалуйста, расскажите обо всех.

— Их трое. Четвертый ребенок был с ожогами и направлен не к нам в Русаковскую. Наша специализация — травмы. Их доставили с самолета. Все в гипсе... неприятно.

— Неприятно? Врачу, вам?

— Да, мне, врачу, было неприятно осматривать этих детей, потому что они были в крайне плохом состоянии. Тут, в тексте, ошибка. У Висама не было ранения обеих ног. У него было ранение левого плеча, бедра, голени. На голени шесть переломов. Остеомиелит уже начался на голени... И вот первое, что надо знать о переломах,— это то, что отломки костей надо обязательно соединять! Это... азбука. У Висама, а он не самый тяжелый, самая тяжелая была Хиям, у нее была раздроблена голень, и, кажется, осколок, и была спица поставлена... мы эту спицу оставили как экспонат, как редкость, вот какая была спица та, я еще подумал, в каких условиях она была поставлена? Так вот, у Висама отломки бедра отстояли друг от друга на п я т ь сантиметров! Пять сантиметров... У меня должен быть снимок рентгеновский (ищет в ящике стола, потом закуривает, за дверью ординаторской топот ног, как в детском саду). Нет, уже сдали в архив... Бритый наголо, глаза огромные, испуганные, и молчит.

— Он теперь даже лохматый.

— Я видел, знаю. Он при нас оброс ведь. Да. Он думает, что операций было четыре. На самом деле одна. Действительно, операция одна, остальные были тем, что мы под наркозом манипулировали аппаратом Илизарова. Мы поставили аппарат Илизарова, а поправлять его болезненно. Давали наркоз. Он думал — операция. Но, в общем-то, для него это одно и то же. Для человека это одно и то же.

— Вы действительно говорили ему правду?

— Я всем детям моим говорю правду. Им нельзя врать даже в пустяке. Поймет и ничему не будет верить. Поэтому с ними ложью нельзя — они так не выздоровят. Да я и сам еще помню, по себе.

— Операции делали вы?

— Я.

— Были ли такие случаи в вашей практике?

— В о е н н ы е р а н е н и я?! Откуда?!

— Ну что-то подобное?

— Была травма, напоминающая.

— Были ли критические ситуации в ходе лечения?

— В смысле опасности осложнения? Нет... хотя мы все время боялись вна-

Тут дети нарисовали, как это прекратится.

Я не могу назвать это «детскими рисунками». Настолько страшно на них смотреть. Я думал над ними и думал, что можно сказать по поводу этих рисунков. Назвать их обвинением! Написать, что нет честнее искусства, и слово «искусство» зачеркнуть!

Вот что я написал в качестве комментария к рисункам палестинских и ливанских детей.

На улице играют дети. Свист бомбы. Остановились, замерли, прислушались. «Ничего,— говорит один,— продолжим. ЭТА взорвется за двести метров отсюда». Они продолжают игру. Бомба падает без ошибки — ровно за двести метров. Или ровно за пятьсот. Дети чувствуют бомбу по звуку. Они так живут. Их маленькие сердца бьются в ритме, связанном с ритмом разрывающихся бомб. Они играют во время бомбежек. Они рисуют до и после бомбежек. Другого времени для детства нет. Я смотрю на эти рисунки и вспоминаю свои собственные. Вспоминаю, как рисовал маму, работающую в огороде. Отца за письменным столом с листком белой бумаги в руке. Белого цвета у меня не было, и я закрасил листок желтым. У меня сохранились мои рисунки домов с треугольными крышами, по форме точно таких же, как на рисунках этих



ребят. У меня дымились трубы и дома были окружены деревьями с коричневыми ровными стволами, с зеленой листвой. Рисовал ли я войну! Не помню. Рисовал — забыл. У наших рисунков нет ничего общего, кроме, как я сказал, формы крыши у домов, но ведь это неизбежно — одна земля, и на ней дома.

Только над теми домами жуткое небо. И женщины тащат детей из-под бомб. Улицы перед теми домами забиты танками и людьми с автоматами. Пустые и мрачные города. В городе девочка, из головы которой течет кровь. Красный и черный — вот все богатство красок и мира. Кто такое нарисовал, был свидетель и им останется на всю жизнь. Ведь дети — будущее, но какое будущее у них!

Среди рисунков был один ярче прочих. Просто такой же яркий, как радуга. Но на него трудно долго смотреть. Там нарисована смерть.

Почему, з а ч е м они рисуют!

Я вспомнил один эпизод, относящийся теперь к моему детству, хотя тогда мне так не казалось. На лиссабонской улице демонстрация фашистов. Они угрожают. Шумят. У здания Сан-Бенту ждем отца. Что было потом! Они приближались.

Отец вышел из здания парламента. Фашисты его узнали. Отец садится в машину. Фашисты набрасываются на машину и пытаются ее перевернуть. Драка. Я в машине. Мне тринадцать. Это не первый случай, когда я вижу их физиономии. Но, наверное, впервые я вижу их физиономии так близко. Тогда отец был немного поранен.



Авторы рисунков (по часовой стрелке): Мхамад Улзна, 10 лет; Хасан Раад, 11 лет; Бтисам Зин, 12 лет; Мхамад Хасан Ибрагим, 11 лет; Рания Дада, 13 лет.







чале, что может образоваться ложный сустав. Это происходит в тех случаях, когда кости уже не срастаются. Так, в августе мы их получили... через пять месяцев он уже бегал, еще в гипсе! Мы ему сделали такой гипсовый сапожок на голени, потому что гипс еще был нужен. И бегал, стучал!

Он не смеялся, а улыбался. Сначала плакал. Долго плакал. Я приду к нему, по голове глажу, а он так... о мою руку трется головой, как...

— Котенок...

— Точный котенок! Он очень ласковый и отзывчивый. Дети ведь вообще отзывчивые, те, которые попадают к нам, особенно. А эти...

— Что, отличались ото всех?

— Глаза. Глаза у них не такие были. Есть дети, которые долго, непрерывно болеют, привыкают к боли, к тому, что надо терпеть... Мы их называем «маленькими старичками». Это дети, которые очень долго болеют. А у них с р а з у были такие глаза.

— Они были одинокими?

— Хиям все время хотела сидеть одна. Мы же сначала не знали, как с ними объясняться, просили переводчика. В палате до сих пор есть на стене слово, написанное по-арабски вареньем. Я не знаю, что оно означает, но мы его не стираем. Если сбоку посмотреть, оно еще видно, варенье не выцвело. Так вот, не знали, как объясниться. Я подошел к девочке, ткнул в себя пальцем: «Александр!» А она поняла, говорит: «Хиям». Вот и все объяснения. Больше знаками. Хиям стала говорить позже, стеснялась произношения. И взрослая уже, грустная. Я ей напоследок сказал: «Хиям, не грусти, хочешь, найдем тебе хорошего жениха?» Она улыбнулась и покачала головой — поняла! А тот мальчишка, постарше, все рвался: стрелять ему нужно было, вернуться и стрелять. Сложно все это, когда касается детей. Одинокий? У нас все этажи знали о них. И матери, которые с детьми остались в нашей больнице, с малышами, они все бегали к этим троим. И приходили люди из ООП. Но главное, что здесь много детей. Дети должны больше быть в своей компании... Прихожу, а он говорит: «Здравствуйте». Я сначала не понял, что за слово он произнес. Ведь он старался повторить звучание. Эх, да ты «здравствуйте» мне говоришь! И он сам об этом слове догадался. Ведь всякий врач, входя, говорит: «Здравствуйте, дети». А дальше уже остальное, по делу. «Здравствуйте, дети» каждый день. И он подумал... Выучил первое слово, второе. Он добрый. И он умный. Мне с ним было легко.

— Он врачом хочет стать. Сказал: «Вылечить какого-нибудь русского человека».

— Серьезно? Да, я понимаю его! Я сам такой — врачом стал потому, что в раннем детстве, году в пятьдесят третьем, года в два, попал в больницу очень серьезно. Меня вылечили, а я стал врачом. Иначе как понять: в семье ни одного врача. Но у нас дома с тех пор слово «хирург» — святое. Здесь я уже девятый год, после выпуска.

— Вы от этого не стали иначе к детям относиться?

— Иначе? Я в них все болезни вижу. Хочется подойти к родителю и спросить, например, что у мальчика с ручкой. Ясно ведь, что он ее немного не так держит. Что-то было. И я за них боюсь. У меня своих два пацана. Старший залез в детсаду на пятиметровую беседку и кричит: «Папа, смотри!» Я ему спокойно: «Тебе не кажется, что это слишком высоко?» — а сам еле удерживаюсь, чтобы не начать тащить его оттуда. Если бы не удерживался, ходил бы следом и одергивал, а этого нельзя делать, я понимаю. Я их люблю.

— Сыновей?

— Всех их люблю. И за них боюсь.

Вечно они куда-то лезут, падают. Май — пик травм. Раскрываются окна, солнышко светит...

...Их выписали в августе, ровно через год. Была какая-то сутолока, нервотрепка, опаздывала машина. Потом приехал Матрук, забрал. Уехали. Все.

— Вы вспоминаете их?

— У нас ведь так и жизнь делится. Говорим: «Это было тогда, когда у нас лежал такой-то мальчик». Мы запоминаем особенно сложные случаи, особенно тяжелые.

— Случаи? Это был особенно тяжелый случай?

— Да нет.

— Что это время принесло вам как врачу, что добавило к вашим профессиональным качествам?

— Это не были слишком сложные или опасные случаи травматизма. У меня были случаи хуже. Другое дело, что это, как я сказал, ранение. Война. Это не профессиональное. Это не врачебная область. Как врач я просто делал привычные мне операции, по элементам они мне знакомы и не необычны.

— ...и в дальнейшем эти дети... У Висама не заболит нога?

— Висам здоров.

— Совершенно здоров?

— Да. Но я говорил о глазах. Наверное, это нельзя исправить. У них глаза абсолютно взрослых людей.

— Это вы вспоминаете?

— ...Я очень хотел весь выложиться. Наверное, из-за Висама что-то прибавилось во мне самом, потому что я помню, как я старался весь выложиться ради них, именно этих троих.

— ...Почему?

— Жалко было.

— Знаете, можно перевести это слово, написанное вареньем.

— Действительно. Я не думал об этом. Смешные. Да пусть останется так.

Врач Кузин встал, чтобы идти вниз, где его дожидались «старые больные».

— Благодарные выздоровевшие?

— Нет,— сказал он.— Повторный осмотр. Я вызываю со временем. Но, конечно, выздоровевшие.

Мы вышли из ординаторской, где богатство обстановки заключалось в телефоне, пепельнице, расписании дежурств и рентгеновских снимках перед экраном. По коридору шли и бежали дети.

— Не сутулься,— сказал он кому-то из них, явно машинально.

Лифт здесь длинный, для носилок.

— Боже,— сказала женщина в приемном покое, терзающая шаль.— И вы не побоялись?

— Чего?

— Чего! — воскликнула она.— Оставить ребенка одного на врачей. Как мне его жалко!

Она заплакала о своем ребенке, упавшем от игры.

1

Встречи с ней мне пришлось ждать долго. Она лежала в госпитале всю осень 1982 года. К ней не пускали никого, кроме сотрудников посольства, и Бруно Гальярдо передавал мне слова врача: «Пусть придет в себя. Пусть ее на месяц-другой оставят в покое».

Бруно Гальярдо, советник посольства республики Никарагуа в Москве, ждал меня в одной из комнат посольства, за столом, на котором лежали сложенные в стопку газеты «Баррикада» и несколько никарагуанских журналов. Комната замыкалась окном, в котором был виден пустой асфальтированный посольский дворик, ограда, улица за оградой, где изредка проезжали вверх по склону автомобили. Заурядный осенний белый денек стоял на улице. Я приехал в посольство на троллейбусе, где ехали со мной обычные московские пассажиры: студенты, женщины с сумками, старушки, мужчина в резиновых сапогах и с тощим рюкзаком на спине. Наверное, ехал он с дачи. Или ходил по грибы. Точно не знаю. Может быть, в рюкзаке у него, в целлофановом пакете, лежали свежо пахнущие сыроежки с фиолетовыми и розовыми ломкими шляпками. Или крепкие, как гномики, подосиновики с крутыми бархатистыми шляпками цвета ржавого падшего листа.

Помешивая ложечкой кофе, Бруно Гальярдо рассказывал. Но и он не знал до последней точности, что случилось, потому что и ему врачи не разрешали говорить об этом с Брендой Изабель Рочей. Да он бы и не стал сам, наверное. Тем более что ей предстояла через два дня операция. И он рассказывал, что знал по газетам и журналам, которые там, в его стране, на скорую руку описали все происшедшее. Все посольские звали ее просто Бренда. Зашла во время разговора женщина и положила на стол карту Никарагуа. И она же (речь шла о ранениях Бренды, которую в эти часы врачи в одном из московских госпиталей готовили к операции) показала на себе, куда была ранена Бренда, говоря по-испански с тем озабоченным выражением лица, с которым всегда говорят про больных. Поворачиваясь, как манекенщица, она проводила левой рукой по правой, от плеча до локтя, и потом ударяла ладонью по ногам выше колен. Здесь пули прошли по касательной и вырвали из тела куски мяса.

Итак, вечером 24 июля 1982 года пятнадцатилетняя Бренда Изабель Роча, которую сейчас где-то в немногих километрах отсюда врачи готовили к операции, лежала в темноте, наполненной стрекотом кузнечиков, на берегу реки у поселка Эль-Сальто. Если по прямой, то это восемнадцать тысяч километров от Москвы, триста километров от столицы Никарагуа — Манагуа и девяносто — от маленького городка Бонансы, где жила Бренда. Сознание возвращалось к ней наплывами. Уходило, отступало и возвращалось. У нее была прострелена правая рука и ноги.

— Потом ее нашли жители Эль-Сальто,— рассказывал Бруно Гальярдо.— Ее доставили сначала в госпиталь Бонансы, потом в госпиталь Манагуа. Ей ампутировали руку. В госпитале ее посетил Даниэль Ортега. Он сказал ей, что электростанцию те так и не взорвали. Он сказал еще, что их было сто человек. Потом Бренду на самолете доставили в Москву и из аэропорта — прямо в госпиталь. Сейчас ее готовят к операции.

— Что первое сказали вы ей, когда ее вынесли из самолета?

— «Бренда, приятного прибытия в СССР». Я встречал ее не один, а с женщиной из Комитета советских женщин. Та сказала ей, что все будет хорошо. Чтоб она не боялась и не волновалась — все будет хорошо теперь.

Он, водя пальцем по карте, обрисовывает ситуацию: вот граница с Гондурасом. Закрыть границу трудно — редкие погранзаставы в горах, нет дорог, много труднопроходимых мест, есть и болота. Национальная гвардия Сомосы, разбитая в сражениях 1979 года, ушла за рубеж, там у них базы, там у них есть посадочные площадки для вертолетов, куда перебрасывают им оружие. Официально это оружие американцы поставляют для армии Гондураса. Девятнадцать миллионов долларов выделили американцы на поддержку людей Сомосы. Сам Сомоса убит, ими командует Энрике Бермудес, который при Сомосе был военным атташе в Вашингтоне. Враг нападает на гарнизоны, кратковременно захватывает населенные пункты и уничтожает электростанции, другие промышленные объекты. Правительство вооружает народ, тысячи старых винтовок розданы людям на севере страны. Отряд, в который входила Бренда, охранял электростанцию в горном поселке Эль-Сальто.

...Раненая, она упала на землю, чувствуя, что теряет сознание. Упала на землю на бок и видела только кусочек земли перед лицом и не слышала ни звука. (Стрекот кузнечиков не в счет.) Не было вдруг ни спешащего взахлеб кашля автоматов, ни грохота винтовок. От тишины она почувствовала ужас. Сознание уплыло и вернулось. По телу вдруг прошла дрожь. Она поняла, что сейчас умрет. Ничего она не видела, кроме черной сухой земли, в которую упиралось ее лицо. Откуда-то из невидимого темного далека она услышала: «Хватит! Кажется, все они убиты! Вскоре могут прийти им на помощь». Тишина. Вой гиены.

Она сняла с себя широкий пояс, на котором висел патронташ с магазинами, положила винтовку рядом с собой, закрыла глаза и, задыхаясь, чувствовала сильную боль в руке и ногах. Там все было мокрое и горячее от крови.



ДЕВОЧКА

А. ЯСЕНЕВ
Фото Л. АНИСИМОВА

Повторный вой гиены из темноты. Она затаила дыхание. Было шесть вечера 24 июля 1982 года, когда кончился бой у Эль-Сальто.

Начался бой в семнадцать тридцать. Сумерки были внезапны: погасло солнце, наступила тьма, полная тьма. Этой тьмы ждали те, кто прошел от границы пустым нагорьем, где рыщут гиены, и затаился у реки. Против старых магазинных винтовок BZ они имели израильские автоматы «Галиль» и гранатометы. Бренда находилась в одном из трех укреплений, за мешками с песком. После обеда внизу, у реки, женщины в цветастых длинных юбках стирали белье. Тут же бегали дети. В вечерний час старушки медленно выходили из раскалившихся за день домиков и шли к церкви. Хотя люди, охранявшие электростанцию, знали, что нападение возможно, все же каждый втайне надеялся, что оно не случится. И тут из темноты, наполненной стрекотом кузнечиков, ударили разом с трех сторон автоматы. Вокруг укреплений пульсировали в темноте красные вспышки.

— Сдавайтесь, эй, вы там! — крикнул голос из темноты.

— Пускай сдается твоя мать! — ответил Рамон Мендьола, столяр из Бонансы, пожилой человек высокого роста и крепкого телосложения.

Весь день стояла жара, а в темноте пошел вялый мелкий дождик. Дождик был теплый. Дождик пошел, как только начался бой. Все население Эль-Сальто собралось в церкви и слушало, как гремят винтовки и кашляют автоматы. Бренда видела, как упала Кристина Ругана, женщина тридцати пяти лет. Мендьола крикнул, чтобы она перебралась назад, потому что их окружали. Мендьола тоже упал. Боль в правой руке. Бренда, не помня себя, выпустила разом весь магазин в темноту, где были красные вспышки автоматов. Потом вставила новый магазин и, успокоившись, левой рукой поднимала ружье на уровне груди и стреляла. Это рассказывал сухо и сдержанно Бруно Гальярдо, листая журналы, где были фотографии Бренды.

На фотографиях она была веселой, улыбающейся, очень фотогеничной латиноамериканской девушкой. Само обаяние, столько грации. Открытая белозубая улыбка. Очень оптимистичная девушка. С разных фотографий она глядела разными взглядами, но все время улыбаясь той улыбкой, что означает счастливую юность. На всех фотографиях у нее было две руки. Ее снимали в госпитале Манагуа. Руку ей спасти не удалось, после ампутации началось воспаление, и, когда советник посольства Бруно Гальярдо рассказывал мне о том, что и как случилось в тот день 24 июля 1982 года, Бренду Изабель Рочу готовили к операции в одном из московских госпиталей.

2

Уже была зима, начало зимы, когда впервые я увидел ее в той же самой комнатке посольства, где мы говорили о ней с Бруно Гальярдо. В окно был виден тот же дворик и улица, и сыпался сухой снежок в сером воздухе. Опять было все очень обыденно, и из глубины посольства, из-за высоких дверей, летел в тишине звук скачущего шарика для пинг-понга. Бренды долго не было, прошел назначенный час, переводчица пришла и сказала:

— Они уехали в парикмахерскую. В двенадцать дня.

— Сейчас три.

— Ну, знаете, это может затянуться на сколько угодно! — сказала она, и по ее тону стало ясно, что такое латиноамериканская точность и как, бывает, трудно ей приходится с этими веселыми людьми...

Гальярдо, например, был подчеркнуто вежлив, как и положено дипломату. Но, когда мы с ним говорили в первый раз, случилось следующее. Я забыл вначале представиться. Чтобы поправить неловкость, я представился прощаясь. Переводчица перевела. Его темные полные щеки запрыгали, и раздался гулкий неудержимый смех. В нем была очень большая серьезность, готовая обернуться столь же большим весельем.

Неожиданно мимо окна проехал автомобиль по дворику, и за дверью послышались голоса и близились. Открылась дверь, и вошла та женщина, что показывала на себе раны, и Гальярдо, и с ними маленькая девушка в черной цигейковой шубе, над которой было ее смуглое круглое лицо с темными глубокими глазами, в которых вдруг появилась неуверенность, даже смущение, когда она увидела чужого, который ждал ее. Шуба была надета только на один рукав, второй висел пустой, неловко она вывернулась плечом из шубы, женщина, говоря что-то, подхватила, помогла, и Бренда стала еще меньше, чем была, без черной тяжелой шубы. Она села за стол, вдруг началась суета (где переводчик? кто-то куда-то побежал), я видел ее в щель приоткрытой двери, как она сидела за большим официальным столом, девочка в красно-синем платье и в теплых шерстяных колготках, очень одинокая за этим большим столом.

Волосы ее были уложены во взрослую прическу, из-под обильных черных локонов, уложенных в ровную окружность, высовывались крошечные смуглые мочки ушей с золотыми колечками. Обычная девочка. Но разговор с ней — как его вести?

И легко и послушно она улыбнулась в ответ, когда я, стараясь как-то преодолеть этот официальный, разделяющий нас стол, улыбнулся ей, пока переводчица переводила.

Я спросил, сколько их было.

Десять. Но двое сбежали, когда начался бой. Один — его отец служил в национальной гвардии у Сомосы. Другой — крестьянин. Они исчезли, как только началась стрельба.

А что она делала, когда началась стрельба?

Она? Она раскладывала печенье. Они привезли с собой печенье для детей из Эль-Сальто. Они собирались устроить детский праздник. Но тут подошел к дому Арон Толедо и крикнул, что что-то случилось.

С кем из десяти она была особенно дружна?

— Со всеми,— ответила она. Во всех ее ответах было какое-то удивление, мои вопросы настораживали и отчуждали ее, снова возникало ощущение, что происходит нечто официальное. Она рассказывала об этом уже много раз — там, у себя дома. В общем, в этом было что-то такое... не вполне хорошее... вот так сидеть напротив нее и спрашивать об этом, и выяснять подробности. Может быть, то, что она должна была отвечать, сидела передо мной как перед учителем. И еще то, что всегда нехорошо, когда человек, с которым этого не было, расспрашивает того, с кем это было. Особенно если один — мужчина, а другой — девочка с ампутированной рукой.

— Но все же? С кем-то особенно?

— С Ароном Толедо. Он был мой ровесник. Мы были с ним как брат и сестра.

Тут впервые она сделала это движение. Маленькой рукой обвела лицо, провела по глазам и круглой детской щеке как человек, которому тяжело вспоминать, долго поглядела под стол темными коричневыми глазами.

Как расспрашивать про это дальше? Как он выглядел? Как они познакомились? Что между ними было? По-моему, достаточно этого: «Мы были с ним как брат и сестра».

— А остальные? Ну, например, Рамон Мендьола? Что он был за человек?

— Пожилой человек.

— Но какой — веселый, разговорчивый, замкнутый, мрачный?

— Он был спокойный, очень спокойный. Но любил поговорить, очень любил.

Есть люди, судьба которых становится судьбой в их рассказе. Я встретил однажды старика, он рассказывал мне, как покупал в двадцать втором году костюм. Это был рассказ! Есть другие, которые совершают судьбу, но не могут рассказать о ней: им кажется, что все было обычно. Как правило, это цельные натуры.

Вообще-то, чтобы сделать острый материал, можно было бы многое спросить. Например, если бы еще раз надо было пойти, она пошла бы? Но как-то невозможно это спросить. Фотографии, в общем, не говорили о ней всего. Не такая она была красивая, как там, нет в ней этого прущего наружу оптимизма. Девочка сидит и трет лицо ладошкой. Устало так, как преодолевая.

После революции она в родном маленьком городке, заброшенном в никарагуанскую глушь, учила людей читать и писать. Была доска, были столы и скамейки, были учебники — две книжки на желтенькой бумаге, старые фотографии там: Сандино, Карлос, Фонсека, народ на демонстрации, танцующие девочки с цветами в волосах. Одна книжка — для учителей, для нее, пятнадцатилетней Бренды, там сказано, как учить. Другая — для ученика, которым был, например, семидесятилетний Мендьола. Левой рукой Бренда листает свою, учительскую книжку: «Первое слово, которое учились писать, было «Карлос». Карлос Фонсека, он говорил, что крестьянам надо не только дать оружие, надо научить их грамоте». Книжка для ученика, книжка Рамона Мендьолы называется: «El amanecer del pueblo» («Заря народа»). Бренда учила Мендьолу читать и писать. Можно спросить: а почему она этим занималась, зачем? Только и это не нужно спрашивать у нее, потому что она не будет знать, как ответить. Это очень просто (объясняю за нее) — грамотный учит неграмотного, как сытый делится с голодным. Это естественно.

Так же естественно, что она вообще активно участвовала во всех делах, начатых революцией: борьба с неграмотностью, охрана промышленных объектов. Спросить ее: что, собственно, привело ее в ряды революционной милиции? И это ненужный вопрос, вопрос неуместный, его нельзя ставить перед ней, девочкой, потерявшей в бою правую руку и того, с кем она была как брат и сестра. Нельзя заставлять ее вымучивать из себя ничего не значащие ответы. Почему она поехала защищать электростанцию? Поехал Мендьола, которого она учила читать и писать. Поехал Арон Толедо. Ежедневно в этой части страны сотни людей делают это — бросают на срок работу и дом и охраняют фабрики, электростанции, мосты, дороги. Выбор стороны очевиден: не за Сомосу же ей воевать, не за то, что изжило себя за пятьдесят лет до того, как рухнуло? Против правительства воюют только солдаты гвардии Сомосы и те, кто наживался на диктатуре. Все остальные воюют за.

И снова она трет лицо рукой, как бы освежая себя для новых вопросов.

Как ей там пришлось? Двое мужчин сбежали — один из них исчез после боя, взял и исчез, может быть, ему стыдно было показаться людям на глаза, и он ушел, наверное, в другую часть страны, в другой город. Но второй вернулся в Бонансу — тот, чей отец служил в гвардии Сомосы,— и пришел в госпиталь к Бренде. И что он хотел ей сказать?

— Я не хотела его видеть.

Твердость и терпение. Терпение и твердость. И когда она говорит это, на детском пухлом лице ее появляется вдруг (она не смотрит на меня) пугающе-жесткое выражение твердости. Может быть, она в эту секунду произносит свой приговор тому. Не знаю.

Но помню рассказ приятеля, которого в армии учили бросать гранаты. Их было несколько десятков, крепких, специально подобранных для службы на границе парней. Им давали в руку гранату-лимонку, и они должны были, сорвав чеку, медленно идти пятнадцать метров к деревянному щиту такой толщины, что осколки его пробить не могли. И, подойдя, бросать. Но вся суть в том, что они должны были нести гранату с сорванной чекой, то есть готовую разорваться, но она не могла разорваться, пока человек сжимал ее рукой, а могла, только если отпустишь руку. Но идти надо было медленно, очень медленно. И мало кто выдерживал — бежали, торопясь избавиться от гранаты. Или кидали, не дойдя далеко до щита. И все они были крепкие, здоровые парни.

Арон Толедо с улицы позвал ее, когда она раскладывала печенье. Это

было в пять часов 24 июля 1982 года. «Там что-то случилось». Только что стемнело. До боя оставалось минут пять. Она взяла винтовку и пошла к укреплению на берегу реки. Им говорили в Бонансе: «Вы можете вернуться, а можете и нет». Я ловлю себя на странном и, может быть, глупом и наивном желании — мне хочется подарить ей цветы, мне хочется поблагодарить ее, подарить ей огромный букет цветов, я выше ее на голову, но я чувствую (соразмерность душ), что я смотрю на нее снизу вверх, на эту девочку.

Рассказ врача Сергея Николаевича Петрова, который лечил Бренду Изабель Рочу

— Девочка поступила к нам осенью, в сентябре. У нее были незакрывшиеся раны на обеих ногах и остеомиелит. Это значит — гнойное воспаление кости. Руку ей ампутировали в Никарагуа, у нее был остеомиелит кости предплечья.

Мы сделали ей две операции. Первую делал я, свободная кожная пластика. То есть закрыли ей раны на ногах. Раны были большие, площадью десять квадратных сантиметров каждая, с неровным рельефом дна. Такие раны нельзя закрыть одним цельным куском кожи, он не ляжет хорошо, потому что рана волнообразна по профилю. Поэтому мы применили прогрессивную методику.

Эта методика была разработана и защищена в одной диссертации на кафедре госпитальной хирургии Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Ее применяли в больнице МПС, на базе которой работает кафедра, я там тогда работал и тоже занимался этим.

Первая операция длилась минут сорок. Полнослойный кожный лоскут острым скальпелем снимают с бедра, образовавшуюся рану зашивают двумя рядами швов, и она заживает тонким линейным рубцом. Кожный лоскут я режу на маленькие кусочки и эти кусочки пинцетом сажаю на рану. Целиком они рану не закрывают, это островки эпителизации, которые затем будут разрастаться. Сверху закрываю рану марлевым протектором и так прижимаю его, что каждый островок оказывается в своем марлевом ложе.

Но это еще не все. Мало сделать операцию, очень важно «читать» рану.

На второй после операции день снимаю протектор, это долго, я делаю это сам, около часа отмачиваю слой за слоем, остается один слой марли, под ним видны кусочки пересаженной кожи — они белые.

На третий-четвертый-пятый день они синие, синюшные. Это значит, артериальные капилляры вросли, а венозные нет. Кровь по артериальным подходит и застаивается.

На шестой-седьмой день кожа розовая. Это значит трансплантаты полностью «сидят», венозные капилляры, по которым уходит кровь, тоже функционируют. Теперь трансплантаты распространяются и затягивают рану.

Вторая операция была на культе предплечья. Вот снимки перед операцией, вот здоровая кость (на снимке ровного мутноватого белого цвета), а вот тут... (внизу кость темнеет, от нее в сторону отбрасывается «тень»). Это реагирует надкостница. Ячеистость в кости, тут вот образовалась полость. Это нам не нравилось. Но во время операции мы боролись за то, чтобы сохранить побольше, с каждым кусочком кости мы расставались неохотно. Это была исключительно точная операция. Если бы мы убрали немного больше, то не к чему было бы крепить протез. Сейчас девочке делают протез, электробиологический, значит, будет подвижная рука.

Вскрыли ей культю, прочистили костный канал, отпилили один-два сантиметра кости, делали дренирование. В общем, работали по классическим канонам гнойной хирургии. Потом занимались с девочкой индивидуально восстановительной физкультурой для того, чтобы повысить мышечный тонус. Это нужно перед тем, как пользоваться протезом.

Между первой и второй операциями Изабель выписывали на несколько дней по просьбе посла. Посол повозил ее по Москве, показал город, и она снова к нам вернулась. До декабря, еще месяца на два. Потом ее выписали уже под Новый год. Скоро надо ее вызывать, посмотреть.

На обеих операциях были переводчики, мы пустили их в операционную. Дали им белые халаты, шапочки, чтобы выглядели как врачи. Во-первых, они присутствовали на тот случай, если надо будет что-то сказать, пока не действует наркоз. Во-вторых, она видела, что тут люди, говорящие на ее родном языке, и это ее успокаивало. Хотя ко времени второй операции она уже говорила по-русски.

Перед первой операцией она нервничала больше, чем перед второй. Испуганные такие глазенки были... Она только что прилетела. В больнице одна. Люди чужие. По-русски не говорит и не понимает. Она еще не вошла в больничную жизнь.

Но держалась девочка с достоинством. Только по глазам и можно было понять, что боится. Она еще снега боялась и гулять не ходила. Ну и мы не очень настаивали, тоже боялись, что она подхватит какое-нибудь ОРЗ, все же она тропическая натура, так сказать.

Не нытик она. Хотя доставалось ей. Когда ее привезли, всем жалко ее было, конечно, господи, девочка ведь... У молодых сестер все их неизрасходованные материнские чувства на девочку изливались. А она им помогать стала как могла, разносила по палатам тарелки, собирала посуду. Русский выучила здесь, в больнице. Ну как выучила? Понять можно, что она хочет сказать, и сама понимает.

Тяжело ей было. У нас, бывает, мужики боли не выдерживают... Она после наркоза, после операции, звала: «Мамито! Мамито!» Мы жалели ее, тяжелые перевязки делали под наркозом. Когда больно, бывало, хныкала. Там у них, я знаю, раньше взрослеют, но все равно ей ведь только пятнадцать... У нее в палате игрушки были, кто-то из наших принес, и посольские тоже привозили. Какие игрушки? Слоны.

Когда мое дежурство было, мы с ней разговаривали. Чайку вместе выпьем. Про то, что с ней было, я не расспрашивал, а зачем? Многое я слышал... а лишний раз спрашивать считал нетактичным, ее волновать напрасно... Разговоры у нас были на свободную тему... в основном о ее будущем. Меня волновала не столько медицинская, сколько социальная ее реабилитация. Кем она может быть? Она училась там у себя в медицинском колледже, это как наше училище. Работать рукой она не сможет, физические нагрузки не для нее. Значит, она должна набирать знания и потом их отдавать. Вот ее путь. Девочке учиться надо. Про это говорили.

Когда я вижу человеческие страдания, я испытываю те же чувства, что любой человек, но только сам характер страданий заставляет меня искать оптимальное решение. Мое сочувствие выражается в точной работе. Если я ошибусь, придется делать новую операцию, а это новые страдания.

Как она звала меня? «Доктор Сергей», а у нас ее все звали «наша мучача».

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Эвелин ХОЛЬСТ,
западногерманская журналистка

— Если в доме нет черного хода, мне там делать нечего,— говорит одиннадцатилетний Джонни, внимательно изучая растрепанную адресную книгу.— Парадный вход не для нас. Там чисто и красиво. Там гости могут прийти. А вход со стороны кухни, ну там, где мусорный бак,— это моя зона.

Уже четыре года Джонни кормится подаянием. Он профессионал. Вот он нашел наконец подходящий адрес и сделал пометку: единичку и крестик. На языке нищих это означает — благочестивая вдова.

С корзинкой в руках (а в корзинке «что угодно для души»: жестяные колечки, расчески, связанные крючком убогие вещицы) Джонни стучится в дверь черного хода. Его лицо сияет чистотой, карие глаза поблескивают хитро и весело. Открывается дверь, и он выпаливает:

— Доброе утро, милая дама! Какой сегодня чудесный день! Можно мне показать вам товар!

— Какой товар! — недоумевает «благочестивая вдова», пожилая и, к счастью, добродушная женщина.— Ты кто!

— Неужто вы меня не помните! Я же Фрэнк! — вдохновенно врет Джонни.— Вы же тогда меня угостили замечательным пирогом, всего-то месяц назад или полтора... Какой замечательный был пирог!

Когда через час он выходит на улицу, в корзинке стало на одну расческу меньше. Во рту у Джонни сладко — он проглотил три куска пирога, а в кармане позвякивает мелочь. Он идет в лавку и покупает губную помаду «Скромная роза» в подарок матери. Мать снова ждет ребенка. Она плохо себя чувствует, и Джонни хочет сделать ей что-то приятное. Тем более что отец, «этот бездельник», три недели назад сбежал, прихватив с собой две самые лучшие чашки, старенький телевизор и недельное пособие.

Отец в очередной раз сыт по горло нищетой, теснотой вагончика, вечно беременной женой, шумом и гамом пятерых детей... Его тошнит от этого места на окраине городка Суонси возле свалки, где возятся крысы. Пройдет какое-то время, и отец вернется. До следующего раза...

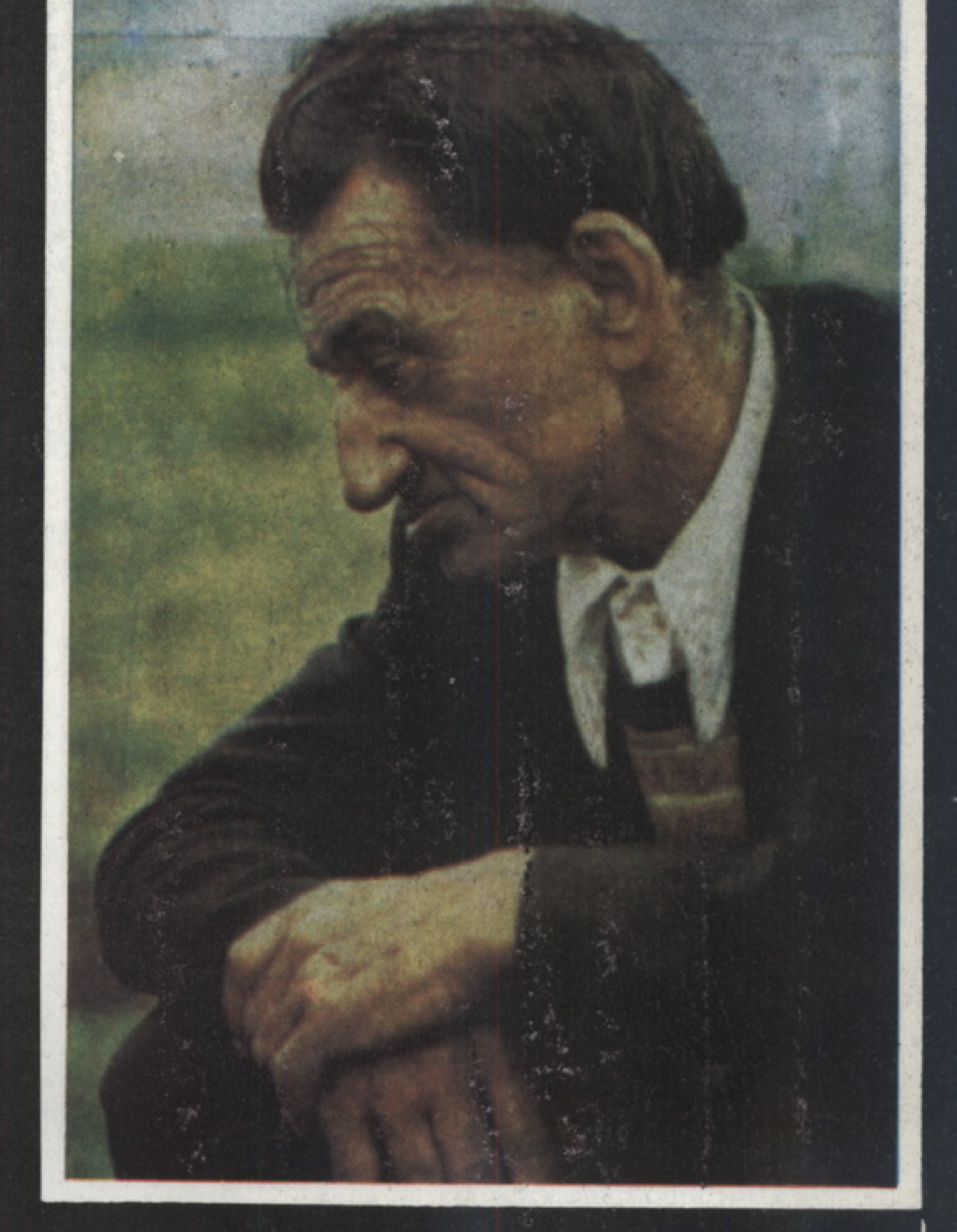
Когда Джонни, довольный сегодняшним заработком, возвращается домой, он видит, как из синей полицейской машины вылезает его старший брат Рэнди. Трое полицейских с безучастными лицами смотрят на беременную женщину, которая с криком бросается навстречу тринадцатилетнему сыну и награждает его двумя оплеухами. При этом она тихонько шепчет ему на ухо: «Ну как! Блузку принес!»

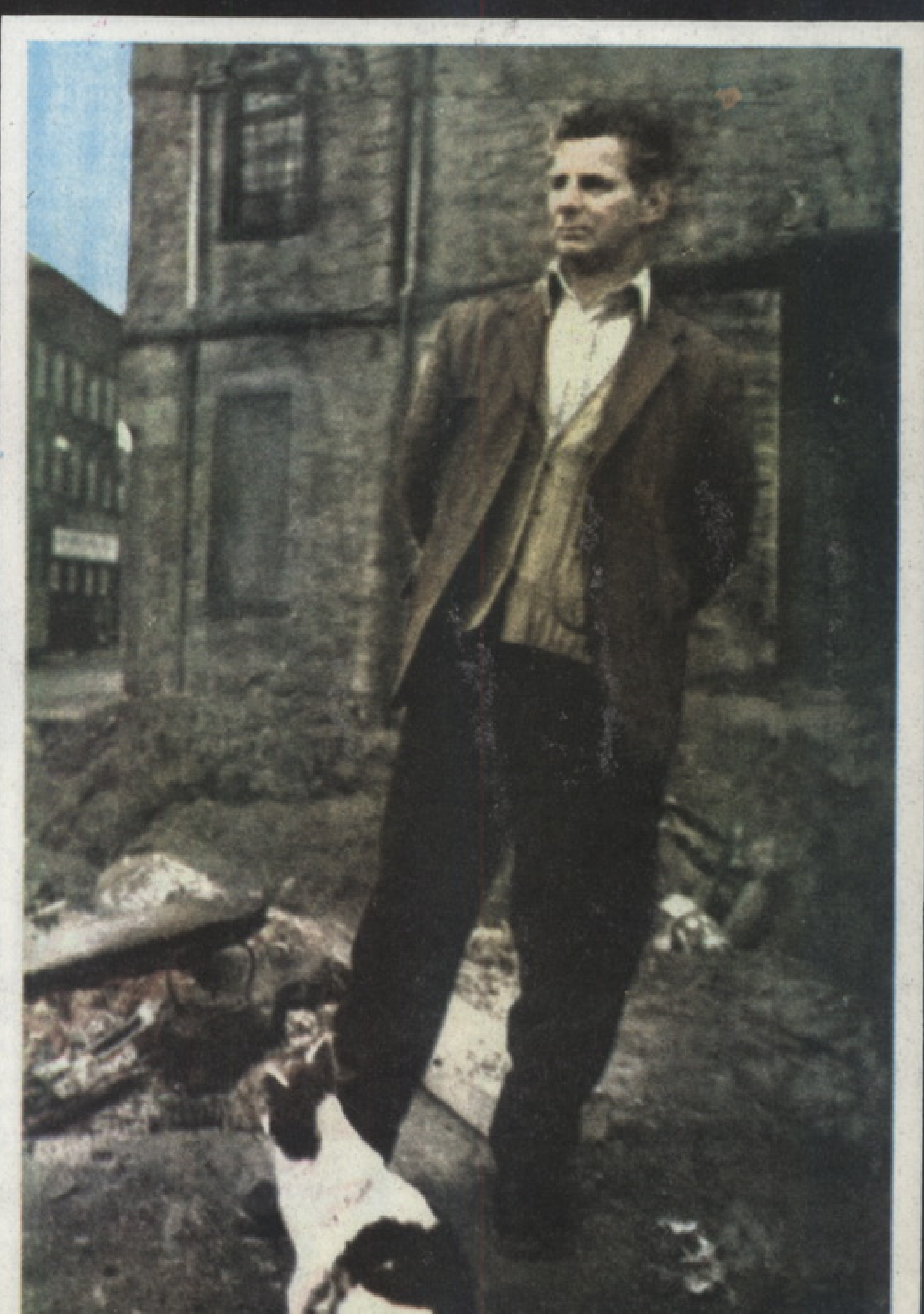
Нет, Рэнди не удалось «увести» блузку, и он наказуется третьим, уже серьезным, тычком, что, впрочем, переносит с полным равнодушием. Пусть «старуха перебесится».

На свалке Суонси обитают в вагончиках двадцать семейств — представители 60 тысяч британцев, называющих себя трэвлерами (путешественниками).

В старые времена, когда фунт стерлингов крепко стоял на ногах, а безработица касалась только некоторых англичан, жизнь трэвлеров была более или менее сносной. Бродячими ремесленниками ездили они по стране, и, если фермеру нужно было починить крышу или крыльцо, он обращался к трэвлерам. Быстро, дешево и надежно.

Но теперь, когда 14 процентов оседлого населения Англии не могут найти работу, их отношение к кочующим «на все руки мастерам» резко переменилось. Как гастарбайтеров в ФРГ, трэвлеров считают в Англии паразитами,









отбивающими у добропорядочных англичан работу и место под солнцем. Им вменяется в вину то, что они не платят налогов, не оплачивают пользование городской землей (свалкой, где им разрешено останавливаться!), что большинство из них неграмотно.

Водитель грузовика — мы хотели узнать у него дорогу к стоянке трэвлеров — ответил бранью: «Дорогу к этому свинарнику! Взяли бы лучше бульдозер да свалили все это отребье в море!» Джордж Уилсон, член совета по трудоустройству в Шеффилде, выступая по радио, заявил: «Эти люди — каннибалы! Пиявки! Была бы моя воля, я бы их всех вытолкал в шею!»

А число «этих людей» растет с каждым годом: все больше семей среднего сословия, разорившись, покидают свое жилье и начинают «дешевую» жизнь на колесах. Вновь испеченные путешественники считают свое положение абсолютным крахом. Концом всех и всяческих надежд.

Лондон. Латимер Роуд.

На перекрестке двух автомагистралей — местечко Флайовер. Выброшенное автостарье, отслужившие свой срок стиральные машины, холодильники. И горы мусора. На мусорных кучах дерутся и играют дети.

В окошках появляются недоверчивые лица. Мы стоим и ждем развития событий. Наконец чей-то голос:

— Эй, вы там! Чего надо!!

Познакомились. Джози Доэрти, 48 лет. Убедившись, что мы не из полиции и не имеем отношения к местным властям, она смотрит дружелюбнее. Гостеприимно приглашает к себе, варит бежевато-серую жидкость, так называемый кофе, и, разминая беззубыми деснами кусок кекса, рассказывает нам про свою жизнь.

У Джози Доэрти уже давно болит сердце. Поскольку Джози ревностная католичка, она поехала в «святые места», там помолилась об исцелении святой Бернадетте. Но сердце все равно ужасно болит, мешает двигаться. Она пробовала трижды в день окроплять себе грудь святой водой. Тоже не помогает. А теперь еще и старик умер. Ну куда ей с шестью несмышленышами! Она плачет.

Понемногу в вагончик собрались соседки, молодые и старые, хотя по внешнему виду здесь трудно определить возраст: одна из собеседниц показалась мне пятидесятилетней, но в разговоре выяснилось, что ей тридцать один год. Недавно у них были неприятности с полицией. Живущие поблизости обратились в полицию с жалобой: трэвлеры, дескать, что-то сжигают, и вонючий дым не дает покоя здешним обитателям. Действительно, все так и было, но дело-то, видите ли, в том, что жгут они не какой-нибудь хлам, а кабель. Для них единственный заработок — сдача утильсырья. А в кабеле прекрасная, ценная проволока. Но рубашку кабеля надо снять, потому что приемщики берут только голый провод. Были бы деньги, конечно, можно обрабатывать кабель кислотой, ну а так приходится обжигать, рубашка сгорит, и все в порядке. Пытались объяснить все это полиции, да с ней разговор короткий: пригрозили штрафом и запретили разводить огонь...

Везде свои проблемы.

Маленькая черная бухта под Ньюкаслом. Сырой, промозглый ветер. Серое небо. Черные волны и черный песок на берегу — угольная пыль, отходы угледобывающего карьера.

Даже для сильных мужчин, таких, как Брайан Хейндли, это отчаянно тяжелая работа. А каково пятерым сыновьям, ведь младшему только исполнилось десять! Их рабочий день начинается с рассветом, иной раз в четыре утра. Опоздать нельзя: «твой» кусок берега тут же займут другие. Наскоро позавтракав, Брайан и мальчики натягивают высокие резиновые сапоги — и к морю. Войдя в ледяную воду, чем дальше, тем лучше, они забрасывают в море нечто вроде невода и вытягивают из воды и со дна осколки угля. Уголь на берегу сгребают в кучу. В полдень и вечером от электростанции приходит ковшовый экскаватор. Экскаваторщик забирает уголь и производит расчет с трэвлерами.

В хорошую погоду за две шестичасовые «смены» Брайан с сыновьями могут здорово заработать. Сегодня хорошая погода. Им повезло.

Сокращенный перевод с немецкого Г. ЛЕОНОВОЙ

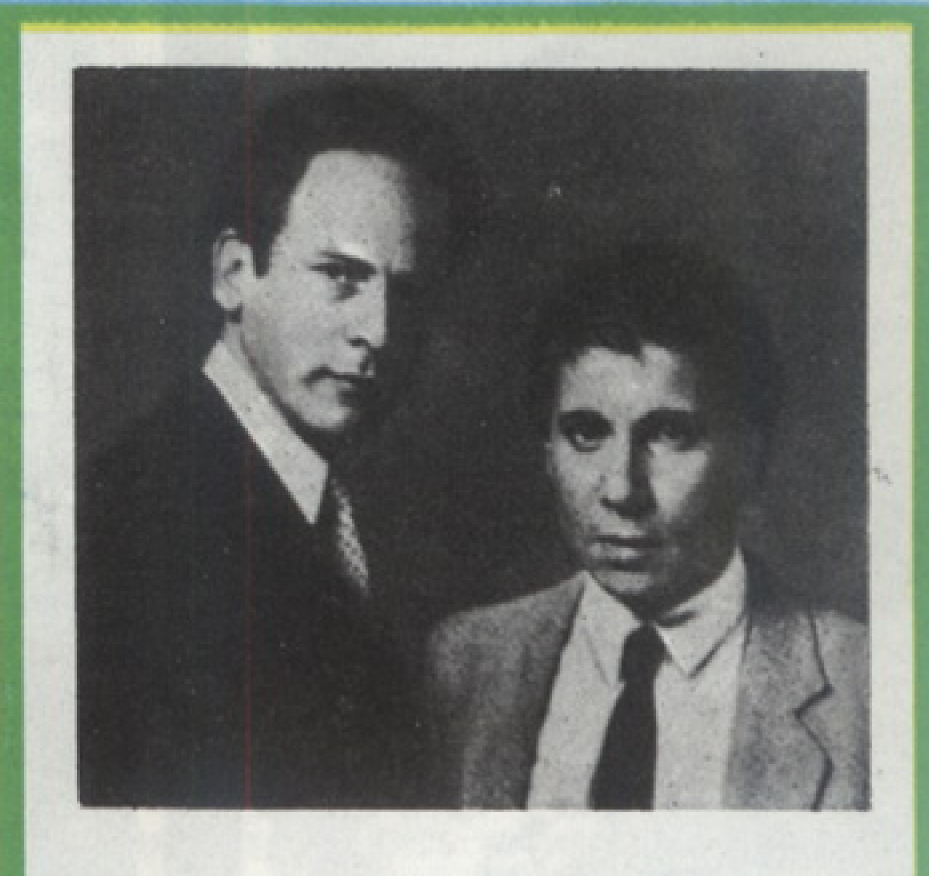






КАК И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ

Итальянская песня вновь стала популярна на эстрадах Италии (в народе она никогда и не теряла популярности). Критики считают, что своим возрождением песня обязана появлению новых интересных исполнителей — Мигеля Бозе, Терезы Де Сио. И певцам старшего поколения (Джанни Моранди, Адриано Челентано), сохранившим верность стилю и традициям национальной эстрады.



ВТОРАЯ ПОПЫТКА

В № 4 за прошлый год мы писали о воссоединении дуэта «Саймон и Гарфункель» для одного-единственного выступления в Нью-Йорке. Концерт был записан на пластинку, успех которой показал, что хорошая музыка всегда в моде и ее всегда не хватает людям. Видимо, это повлияло на решение Пола Саймона и Арта Гарфункеля вновь выступать вместе.



ВЕСТЕРН С НЕСЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

«Добро пожаловать в страну Мальборо!» — приглашает рекламный красавец ковбой. А вот ковбой настоящий: в широкополой шляпе, на лошади, только вместо привычного винчестера — баллон с кислородом. «В детстве насмотрелся картинок,— говорит он,— думал, что за ковбой такой без сигареты. А теперь дышать нормально не могу». В документальном фильме английского телевидения есть и другие настоящие ковбои, и рассказывают они о настоящих болезнях, причина которых — курение. Фильм произвел фурор в Англии и, несмотря на то что табачные компании объявили ему настоящую войну, пробился на экраны в США. К тому времени пятеро из снимавшихся в нем ковбоев умерли от рака легких. А рекламный красавец по-прежнему на коне.





ПОБЕДИТ ЛИ КИТ СЛОНА!

Двоим на французском киноолимпе тесно. И чтобы выяснить, кто «более олимпиец», журнал «Пари-матч» провел анкету «Делон или Бельмондо?». «Если б каждый записал по пластинке, чью бы вы купили?» — Делона. «Чьи мемуары прочли бы охотнее?» — счет равный. «С кем бы предпочли отужинать?» — с Бельмондо. И т.д. В итоге 5:3 в пользу Бельмондо. Поклонники Делона пусть не унывают: сами актеры считают, что и здесь победила дружба.

УРОК СТРАНОВЕДЕНИЯ. Магазин игрушек в Кёльне (ФРГ). Еще минуту назад приветливая продавщица вопит: «Эй, Ахмет, пошел прочь!» Мальчишка произносит: «Я хотел смотреть, я не трогать». Достаточно было бы сказать, что он не Ахмет, а Райнер, и приветливость вернулась бы, как по волшебству. Но Райнер проводит эксперимент: вместе с одноклассниками он решил испытать на себе, как живется в его родном городе детям иностранных рабочих. Из 30 одноклассников Райнера не участвовало в этом «уроке страноведения» шестеро: два итальянца и четыре турка, они ответ знали заранее.



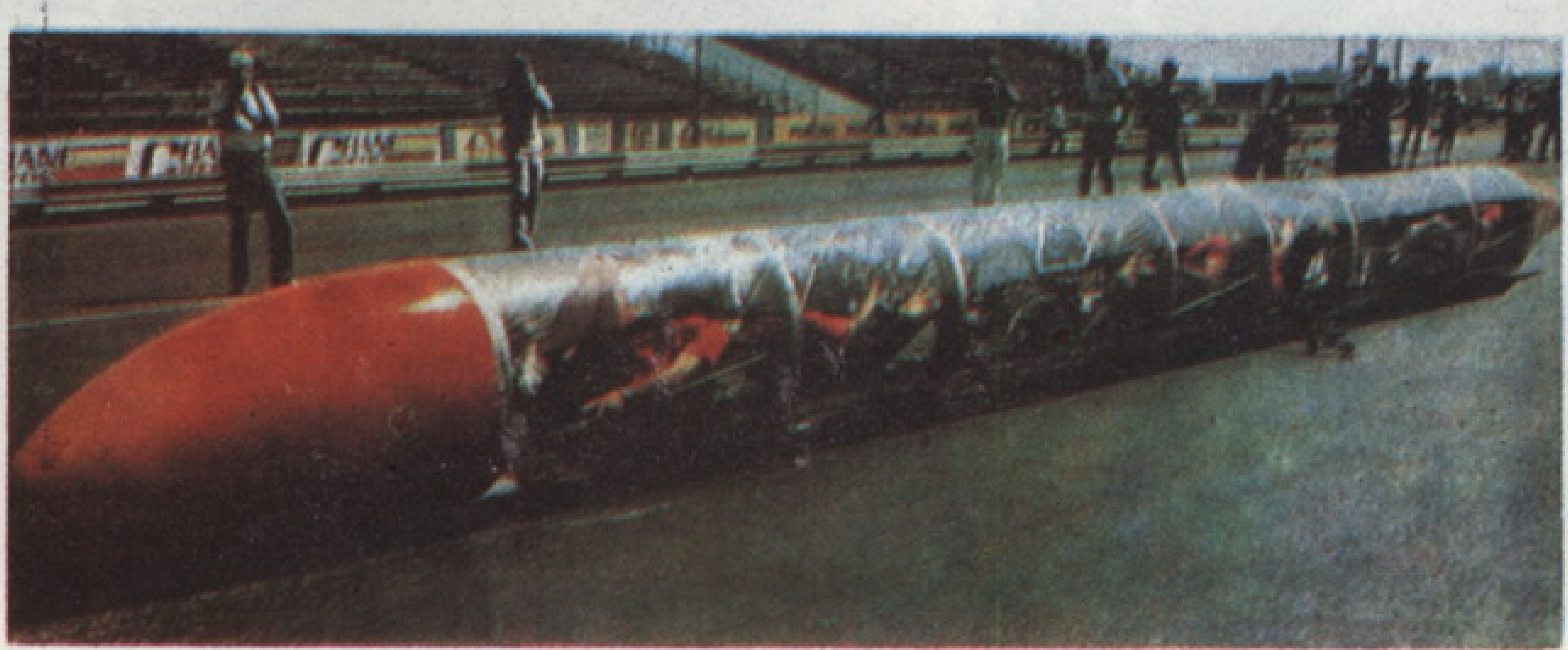
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

Средний возраст участников английского ансамбля «Музыкальная молодежь» 13 лет. Их прошлогодний успех, песня «Передай кастрюлю», вызвал слезы умиления на глазах критиков: надо же, такие маленькие, а реггей играют как взрослые. Сами музыканты возражают: «Не такие уж мы и маленькие — два года работаем, наши концерты слушают взрослые люди. Правда, когда мы узнали, что наша песня вышла на первое место, радовались как дети».



В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Велосипеды из пластика, велосипеды без спиц, без педалей... Изобретатели-энтузиасты не унимаются, несмотря на упреки и насмешки. «По-моему, все очень просто,— считает создатель этой многоместной сигары,— люди и здесь стремятся к совершенству. И лучше уж без конца изобретать велосипед, чем что-то, что может нанести вред человечеству».





А. ПОЛИКОВСКИЙ

«ОЛИМПИЯ» МИМОЛЕТНАЯ



1. — Ну что ж я буду о себе рассказывать-то? — говорит она мне по телефону, из всех своих голосов выбирая голос усталого каприза.— Вы все равно не поверите. Ну, скажу я, что в Париже была гениальная, в Италии шикарная... Может, я вам вру?

Каприза нет и в помине, когда мы встречаемся. В черной блузе, расшитой пальмами, в опушенных тапочках, рыжая, как кошка, большая, как рыжая тяжелая кошка, которой взбрело в голову поиграть в солнечный ясный день,— она с улыбкой, плавно, но очень быстро скользит по солнечному паркету к огромному белому роялю и, стоя ударяя по клавишам, пускает в день коротенькую мелодию, бравурную и несерьезную, и скользит дальше — в кресло, в глубокое кресло, куда и забирается с ногами — и взгляд из-под рыжей челки исполнен игры: «Ну, давайте сюда ваши вопросы!»

— Вот вы сказали по телефону, что в Париже были гениальная, в Италии шикарная,— начинаю я.— Или нет, я мог перепутать, где вы какая были: в Париже шикарная, в Италии гениальная... Я хотел спросить, что это конкретно значит, как вы были гениальная?

— Я вам такое могла сказать? — спрашивает она оторопело.— Ну, я шучу вообще... Во-первых, я вам скажу, что я не хотела бы быть гениальной, я не считаю себя гениальной, я просто человек способный и талантливый, я хорошо готовлю (если готовлю), могу написать какую-нибудь картину (у меня просто нет времени), могу написать музыку, и достаточно неплохую...— Она играет свою роль лучезарно и с таким удовольствием, что прервать жалко,— она в упоении...

Она «обыгрывает» интервью, не дает его, а разыгрывает, как всю жизнь свою, проходящую на людях, разыгрывает. В интервью журналу «Культура и жизнь» в 1979 году она сказала: «Порой даже начинаешь путать, где же ты настоящая: та, которая на сцене, или та,

что за кулисами...» А может, ни та, ни другая. Она в постоянном наигрыше, пока на нее смотрят,— и все же чувствуешь, что за всей этой буффонадой есть — в глубине — простой и честный каркас. Она настоящая наедине с собой. И так и видишь, как, оставшись одна, она сядет у зеркала, подперев лицо руками, а с лица все эти мнимые выражения спадут одно за другим, и в опростившееся свое лицо взглянет она устало, а не разыгрывая усталость: «Боже ты мой...»



2. В ФРГ Пугачева ехала из Чехословакии, где у нее были гастроли. В ФРГ нужно было выступать в Кёльне. Это был концерт для «Радио Кёльна», радиоконцерт. И вдруг: не могут играть двое ее музыкантов, заболели разом, что делать? Тут же рядом были (тоже выступали) музыканты из Польши и Румынии, она, разозленная, громы мечущая и молнии, говорит: «Пусть они играют!» Поляк и румын, которые не знают ее программы. На лицо надев улыбку, перед концертом вдруг чувствуя прилив сил, жжение нервов, выходит она на сцену в Кёльне, есть в ней сила пересилить, хватка грузчика, которому чем тяжелей, тем интересней. А концерт разваливается на части, ужас, кошмар, а она ловит отваливающиеся детали, толкает дальше, улыбается в зал, поет и пляшет, раскидывает руки, мысль одна: «Сверну! Сделаю!» Чуть гаснет свет в зале, те перестают играть, ибо не видят нот. Свои музыканты играют одно, чужие другое. Но успех! победа! и истерика после концерта.

Но она не такой человек, чтобы страдать одна за всех, чтобы сесть тихо в уголок и поплакать. Как же! Ее истерика — это зрелище выдающееся, это тоже театр, и истерику надо сыграть, а не просто наорать, как дура. И вот уже и у музыкантов истерика, и у сопровождающих лиц истерика. У всех истерика. У всего мира истерика. Посуду всего мира может перебить эта рыжая женщина, эта грузноватая женщина с легкими движениями — в такие минуты. И при этом в глубине души усмехнется: «Правильно, бойтесь меня!»

Одна Пугачева разыгрывает (но в каждой игре правда психологического момента), другая осмысляет: «Когда вы видите мегеру, ходящую за кулисами, это еще не значит, что я мегера, правильно? Если я кричу на репетиции на музыкантов, то это не значит, что я злая, правильно? Понимаете, есть только одно определение: я сама себе не даю спуску и другим тоже не дам. Я слишком много заплатила за то, чтобы иметь то, что я имею в работе».

Зал «Олимпия»? Она читала о нем задолго до того, как выступила там. Мечтала ли выступить? Мечтала. Она честолюбива, как провинциал, приехавший в столицу, и в некотором роде она и есть провинциал — девочка с окраин, девочка с Крестьянской заставы, мечтающая о том, как в один прекрасный день удивит мир и мир ахнет: «Как же мы это раньше ее не замечали?»

3. С пяти лет она занималась музыкой. А музыка — это для нас, слушателей, удовольствие, для профессионалов же, даже если им пять или десять,— каторга. Она до сих пор помнит фуги и инвенции Баха, которые ей не давались. Мама клала перед ней, на крышку пианино, десять спичек, и она играла десять раз одно и то же, перекидывая по спичечке справа налево. Мама не проверяла, она вполне могла бы переложить пару спичек, не играя, но никогда этого не делала. И она была в музыкальной школе одной из лучших учениц, и слава была уже тогда — пусть не европейская и всемирная, которой сейчас хочется, но все равно настоящая, крепкая, трудом добытая слава лучшей пианистки школы, уважение сорвиголов из дворовых футбольных команд.

Вся Крестьянская застава — это были дворы, дворы, сообщавшиеся между собой проходами, калитками в заборах, отделенные друг от друга гаражами и глухими стенами, у которых лепились голубятни из сетки и фанеры. Во дворах на весеннем солнышке сушилось белье, ветер пузырил наволочки и тельняшки, покачивал светлый оструганный шест, к которому была привязана веревка. Из форточек неслось: «Ко-о-оля, домой! Ма-а-а-ша, обедать!» Сверху, с Таганки, бежали ручьи. В футбол играли во дворах дотемна оравы мальчишек-виртуозов. Воронцовские бани, красные, цвета лежалого мяса, видны были в окно актового зала на пятом этаже школы, где садилась четырнадцатилетняя Пугачева за пианино, клала свои белые руки с сильными, совсем не тоненькими пальцами на клавиши, ожидая, посматривала в окно, на крыши домов, на черную трубу бани, из которой изпод крышечки шел в тихое, влагой дышащее небо белый густой дымок. Даже и на вечера десятиклассников звали ее как аккомпаниатора — и она была уже тогда маленькая профессионалка среди великовозрастных любителей, и ученик-старшеклассник Виктор Пармухин пел романсы, и это было очень давно.

4. В «Олимпии» на сцене стояли Пиаф, Азнавур, Беко, Матье. «Ножками своими стояли на этой сцене звезды эстрады»,— как она скажет. Быть в «Олимпии» — не значит еще европейской славы, но значит, что ты причастна к миру звезд, что ты — все же добилась своего, все же доказала. А она очень хочет быть именно звездой, ей мало быть просто певицей, нет — звездой! И она говорит с некоторой досадой: «У нас это слово всегда ставят в кавычки...» У нее сейчас — период самоутверждения, она всем своим поведением и разговором, тоном, жестом как бы говорит: «Видали? А вы не верили!» А раз не верили, раз мучилась она десять лет в заштатных группах, в провинциальных ансамблях, раз не приняли, не уверовали, обошли, заставили долго ждать — то теперь терпите! теперь она отыграется! Журналисты, публика, режиссеры, фирмы грамзаписи — бойтесь меня, как ведьма на помеле, будет носиться она теперь по миру, завывать в трубы, срывать шляпы, хохотать из-за плеча в полночный час. Потому что теперь — ее время. Упоена своей властью. Своей силой. Своим талантом. Славой своей. Победительница, актриса, рыжая ведьма, звезда эстрады, и ножки ее стояли на той сцене! Кто не верил — тот проиграл.

Многие не верили. Лет семнадцать ей было, когда она пришла на прослушивание к известному маэстро. Девочка, наизусть помнящая Мандельштама, поэтическое рыжеволосое существо, тонкое, как эфир... Ангел еще не вывернулся ведьмой. Он прослушал. «Какая прелесть!» Она вышла за дверь. «Какая дешевка!» «Я слышала это своими ушами! Ладно...» — говорит она сквозь зубы, не простив до сих пор.

Но ведь были люди, которые верили! Таких было мало, но были! И с одним

из них, который тогда был главным редактором отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио, я встречаюсь. Валентин Иванович Козлов рассказывает мне о тех далеких днях, и Алла Пугачева открывается мне по-иному. Я для нее сейчас — частица мира, который долго не желал ее признавать, я для нее — один из тех сотен, что лезут и осаждают. «А я никому не позволю халтурить на мне!» Но Козлов знал ее тогда, когда не было всего этого в ее душе, и будущее было неясно, и характер не был искажен славой, и не было в ней ощущения всесилья и упоения собой. Козлов же был тем человеком, который поверил в нее и своей властью дал ей возможность записываться в студиях и пустил ее записи в эфир. Он — долговязый худой человек с близорукими добрыми глазами за стеклами очков. По нему не скажешь, что может быть тверд и имеет склонность к риску. Но это так. Не одна Пугачева дебютировала, пока он был главным редактором. Он умел верить в людей. «Я огребал все оплеухи, какие можно»,— говорит он, имея в виду, что свои идеи и свои опыты надо было отстаивать.

Пугачева пришла к нему с просьбой: записаться для пробы. «Мне представили девочку. Юную. Очень стройную, очень хорошенькую. Масса обаяния. Очень воспитанную. Она понравилась манерой поведения, какой-то не по возрасту умной головой — и скромностью. Пришел далеко не уверенный в себе человек». Он после первой записи пригласил ее к себе в кабинет, вернее, в кабинетик, такой маленький, что туда не умещалось пианино, и даже пианола не умещалась, а только — миниатюрная пианетта. «Я стал выяснять, кто она, что она. Мне показалось, что живет она очень трудно, поскольку семья у нее была не очень обеспеченная, она тянет основу в семье, а она студентка, большая часть свободного времени у нее занята приработками игрой на фортепьяно, таперской работой...» Козлов записывал ее тогда в студиях десятого и одиннадцатого этажей дома на Пятницкой, по ночам, ибо днем студии были загружены. Она не знала, что такое фонограмма, он объяснял. «Мы понимали, что получает она мало. Она была «бесставочная певица». За запись мы ей платили по максимуму — две ставки по пять рублей. А нужно готовить, учить, потеть ночь в студии. Но если она на это шла, то, значит, рвалась к этому. Да и десятка ей тогда, видимо, была очень нужна».

Вскоре после этого были первые гастрольные поездки по провинциальным городам. «Меня взяли в Эстраду!» — говорит она, этими словами передавая тогдашнее свое восторженно-наивное состояние. Это был для нее праздник, хотя номера в гостиницах были все как один холодные. Она выставляла на подоконник, на самый холод, большую банку с капустой, эту капусту снаряжала ей с собой мама в каждую поездку.

5. В Италии к ней подошли, попросили неуверенно, с извиняющейся улыбкой, все же артистка, актриса с непредсказуемым темпераментом, как бы не обиделась: «Вы знаете, мы не знаем, как вы будете проходить, не могли бы вы спеть по-английски, наша публика это любит?» — «На английском? Да, я могу спеть на английском, на французском, отчасти даже на немецком, но зачем мне это? Разве что совсем плохо будет!» — «Синьора, вас здесь не знают...» — «Буду я им слюнявчики вешать! — говорит она тоном человека, выросшего на улицах предместья.— Буду я им... Ах, вам нужно по-английски, чтоб вы поняли, ой-ой-ой! Хэлло-у! Хау ду ю ду! Чего там еще? Сенькью вери матч! Да зачем это нужно? — голосом, как руками, за грудки берет.— Я им лучше спасибо скажу, они и так поймут!»

И не пела по-английски, и гордо рассказывает об этом. А устроители привезли ее однажды в какую-то провинцию, в какой-то небольшой городок («Я эти названия никогда не запоминала»), в какую-то глушь несусветную, в какую-то итальянскую Тмутаракань, где телевизоров не смотрят, о Пугачевой не слыхали и на концерты ходят, только если выступают земляки. Нашли земляка, молоденького певца, и, для того чтобы собрать публику, выпустили его перед ней минут на десять. «Он, бедный, чего-то там пел, пел...» Потом она вышла — рассказ ее эпичен, как Песня о Нибелунгах — представляешь себе, как выходит она, на голову выше итальянца, ручищей отодвигает его в сторону, с улыбкой силы берет микрофон, смотрит в зал: «Ну, голубчики, сейчас я вам покажу, попались вы у меня...» «Он стеснялся потом выходить в конце концерта. Я уж его вызывала: «Дружба народов!» А он такой весь бедный выходит, с бабочкой своей, такой весь у-тю-тю (голосом изображает, какой тоненький мальчик, тонюсенький просто), такая конфетка, такая раковая шейка, такая...» И она смеется грудным смехом.

6. Спортивный азарт в ней есть — и еще какой! Азарт переупрямить, перетянуть, азарт перевернуть! И интервью дает с тайным азартом, вернее, разыгрывает его не без тайной мысли, не без спортивной идеи журналисту заморочить голову, не без спортивного интереса и на этом испробовать свои актерские чары. А может, просто настроение, прилив-отлив, а она в этих приливах-отливах не властна, не хочет быть властна: сегодня каприз телефонный, завтра беседа доверительная, терпите, ведь я звезда! Но спортивный дух в ней, очевидно, есть, и она говорит, что ей обидно, когда она выигрывает за рубежом на конкурсе, а в честь ее победы не играют гимна СССР. «Разве мы хуже спортсменов?»

Это упорство преодолеть, этот азарт труда подметил в ней клоун Андрей Николаев, который преподавал ей в ГИТИСе. Он рассказал, как она училась жонглировать. «Она, грубо говоря, в работе настырна. Вообще-то, жонглировать учатся неделю, а она выучилась за шесть часов. Заперлась в комнате и жонглировала мячиками и шляпами до двадцатого пота».

7. Итак, были концерты в Италии, и была новая, особая, итальянская публика. Концерты начинались в девять вечера, а время это неудобное, потому что в это же время открываются все кафе и бары, все увеселительные заведения. Лучшее время для концерта — с семи до девяти, когда людям некуда пойти. «То, что они приходили в девять часов на концерт неизвестной советской певицы,— это был героизм с их стороны».

В девять часов в зале никого нет. Все готово, все одеты, нервно ходят и бродят за кулисами, но — никого нет! Ни души! Как выступать? «Ну, боже мой,— думает она.— Провал какой! Совсем никого! Что делать-то? Перед пустым залом петь? Позор... Нет, лучше сейчас на улицу побегу, буду вести, прямо за руку хватать и тащить...» В этих отчаянных мыслях проходит минут десять и четверть часа, а вот и половина десятого, смотрит она в зал — и гора с плеч, крик облегчения: «Сидят!» Ползала сидит или три четверти — неважно, главное, что не маячит впереди ужас и позор выйти перед пустым залом, ты волновалась, ты при параде, а никто не пришел... И гаснет свет, и начинается концерт с песни «Люди, люди, люди», а в конце, когда свет вспыхивает, зал-то полный! «Когда они набежали? У них, оказывается, принято так — на половине концерта убегали они куда-то и приводили своих друзей, а некоторые только под конец и приходили, это у них самый высший писк такой, понимаете...»

8. «В 1976 году я впервые приехала во Францию и спела три песни в Каннах, на фестивале МЕДЕМ, и имела там просто сенсационный успех. Все заговорили, заговорили: «Ой, какая девочка, Арлекино-Арлекинс ..» И вот прошло шесть лет, и меня, естественно, забыли».

Из всех стран, где она выступала, легче всего ей было именно во Франции, и оттуда, считает она, должна начаться ее европейская слава. «У нас слушают все больше французов — Джо Дассен, Мирей Матье,— а там, наверное, пришло мое время...» Когда она говорит об этом, в ее голосе нет самоупоения, потому что победа еще не одержана, добыть европейскую славу — это дело трудное, тут придется поработать, поворочать горы. А концерт в «Олимпии» завершил одно в ее жизни и начал другое — новый виток работы, новая публика, новая цель...

«Сама школа, сам французский театр песни — это мне близко. Эта мимика, жест, глаза, эта музыкальность, этот особый видеоряд — они все это понимают. И мне очень легко во Франции. Сенсацией я уже быть практически не могу и не хочу, потому что сенсация — это на три года, на три дня. А мне бы хотелось быть певицей такого плана, которую они могли бы просто слушать. Как мы слушаем Эдит Пиаф здесь». И, несмотря на то что она ставит себя рядом с Пиаф, в душе не возникает протеста. Потому что она говорит вовсе не так, как говорила про свой успех, «просто сенсационный». Короткое мгновение простоты пред лицом работы, которую не обманешь, не разыграешь, не обыграешь, а только — осилишь.

С самого утра в день концерта парижский ее номер в отеле наполнен страшным, душу выматывающим нытьем: «Ой, за что мне это? Ой, кошмар! Ой, скорей бы вечер пришел, чтобы я уже скорее выступила, началось бы и закончилось! Какой ужас, да за что мне все это, за что...» Нервы весь день, до самого вечера, будто наматывают медленно на катушку, вытягивают из тела, тянут, изуверы, по сантиметру... К вечеру, может, у нее и температура (точно неизвестно, она не мерит, какая разница, даже если тридцать девять или сорок, что это меняет? Все равно идти и петь, не отказываться же от этой сцены, от сцены «Олимпии», где стояли Пиаф, Азнавур, Матье,— так и в Сопоте пела с воспалением легких, потому что воспаление пройдет, а Сопота больше не будет...). Но самый кошмар, самая лихорадка за кулисами. Она уже готова, уже одета, уже на самом кончике языка пляшут и жгут слова, что она скажет, выйдя... а выходить рано, концерт, как всегда, начинается с опозданием на несколько минут. И она, маясь за кулисами, говорит (внутри себя) парижанам, что шумят и заполняют зал по ту сторону занавеса, ходят, покупают бутылочки с прохладительными напитками, пробираются по рядам к своим местам, все в легком и приятном предвкушении концерта: «Ну скорей бы уж расселись бы вы...»

«Если б я пела по-французски, я не думаю, чтобы у меня был бы идеальный французский. Они бы не поняли половину. Я сделала иначе. Краткое содержание между песнями переводил переводчик. Переводчик переводил на фоне музыки вступления к песне. Темп концерта не прерывался, и связки были очень красивые, французская речь на фоне музыки вступления... Потом вдруг по-русски начиналось то самое — они уже знали о чем. И им было приятно, что они понимали, о чем песня, хотя и на русском языке. И тогда я могла проявиться как актриса!» — вдруг восклицает она с прежним упоением и взлетает ввысь и оттуда смотрит на меня и на весь мир с лукавым намеком, с игривым величием — актриса, певица, звезда, не гений, но талант (и умеет готовить!) — покорительница Италии и Франции!

И вновь начало — привычное и все же волнующее, вновь выходит она на сцену сильным шагом, выходит так энергично, как будто собирается сквозь стены пройти — и во всех ее жестах и позах, во всей мимике ее яркого лица — одно: я здесь хозяйка, я позабочусь о вас, вы тут у меня... Вы мои. Она знает свою силу на сцене, она говорит: «Сцена — моя «коронка», мое самое-самое...» И катится слаженно ее программа «Монологи певицы», катится, как скорый поезд без остановок, без пауз, нон-стоп, унося с собой зрителей зала «Олимпия», покорных воле певицы уже после третьей песни. И хотя программа называется «Монологи певицы», на самом деле по форме и сути это монологи девчонки из предместья, с Крестьянской заставы, девчонки, добывшей славу. «Развитие образа — вот она, девчонка, от мамы уходит к любимому, объясняется, грубит, потом осознает, что глупа,— и вот она уже женщина, уставшая и несчастная, хотя все обстоятельства благополучны, вот приходит дежурный ангел и спрашивает, чем помочь, а она говорит: «Да что, у меня все хорошо!» Смех сквозь слезы! Соломинка в океане! Каждая песня — кусок ее жизни, сжатый в три минуты музыки и чувства.

После концерта в ее уборной — столпотворение. Директор «Олимпии» Жан-Мишель Борис откупоривает шампанское, выстрел, струя пены в подставленные бокалы... По традиции пьют в честь певца, который выступил только что на этой престижной сцене. «Пускай это будет не последний раз». Тут продюсеры, тут дочка и внучка Бруно Кокатрикса, основателя зала... «Ко мне все подходили». Это было в Париже летом 1982 года, всего один концерт, всего два с половиной часа в этом зале с черными стенами. «Моя мечта свершилась».

Счастлива ли она? Вскоре после того, как вернулась она из Парижа, встретилась она случайно с тем, кто верил в нее с первых ее шагов. Валентин Иванович Козлов был в концертном зале Олимпийской деревни, раздевался за кулисами и узнал, что рядом находится уборная Аллы Пугачевой. «Мы не виделись очень-очень много лет. Я постучал. Говорю: «Аллочка, вы меня узнаёте?» — и, ей в лицо заглянув, вижу, что не узнаёт. Я говорю: «Годы-то идут. Меня зовут Валентин Иванович, а фамилия моя Козлов». Она бросилась ко мне на шею: «Валентин Иванович, ну как же! Я ж сразу узнала!» Я говорю: «Какого черта! Как же, когда я старый гриб уже...» Ну вот, обрадовалась... Немножко поговорили, и я ей сказал: «Аллочка, по-моему, ты нисколько не изменилась... Как была девочка в семнадцать лет...» Записали друг друга телефоны, обещали перезвониться, она не звонит, я тем более... Вот, собственно, и все.

Она осталась такой же, какой была когда-то. Такая же непосредственная, не очень, по-моему, счастливая своей популярностью, своей — может быть, человеческой, может быть, актерской — судьбой, с какой-то затаенной грустью в глазах, с каким-то особым восторженным воспоминанием о молодости».

9. Перед концертом она ходит за кулисами вдоль сцены по темному, огромному пространству, пронизанному сверху вниз натянутыми тросами, занавесами разной длины. На каком-то уступе на высоте двухэтажного дома стоят и лежат сотни две стульев. Она ходит как заведенная в своем широком белом балахоне, покачиваясь на ходу, может быть, даже постанывая, по идеально прямой линии взад и вперед. До конца, резкий оборот и обратно. В радиусе десяти метров никого нет — никто близко не подходит к ней, хотя она, кажется, и не видит никого в своем лунатическом предконцертном состоянии. Пугачева ходит как измученный зубной болью человек перед дверью зубного кабинета: вот-вот позовут, и не отвертишься. Так лучше уж скорее. Но не зовут. Она нервически крутит кистями рук, шевелит пальцами, потом сжимает себе кисти — и все идет, все идет — живой маятник. Пытка ожиданием.

В ее уборной после концерта (она уже переоделась) висит на плечиках ее белый балахон, я подхожу поближе и рассматриваю. Он казался большим, широким, он сиял, а сейчас, как будто усохнув, висит похудевший и потемневший, такой одушевленный, что кажется, что это сама душа хозяйки висит на плечиках, бессильная, опустошенная работой.



С легким паром

Анатолий РУБИНОВ

Русская баня упоминается в самых древних исторических источниках. Легендарная княгиня Ольга своих врагов, погубивших ее мужа, сожгла в бане. В другой легенде — об Андрее Первозванном — рассказывается об иностранцах, побывавших на Руси и дивившихся местному обычаю,— еженедельно хорошенько вымывшись, хлестать себя в жарком поту распаренным березовым веником: люди эти «творили себе не мучение, а мовение».

Этот забавлявший иностранцев удивительный обычай сыграл, однако, свою роль в судьбе всего народа. В средневековье, когда эпидемии одна за другой косили страны Центральной и Западной Европы, обычай еженедельного мытья спасал народ от болезней, закалял людей, давал жизнестойкость.

Поразительно и то, что бани не исчезли в наши дни, когда подавляющее большинство населения переселилось в благоустроенные квартиры с индивидуальными ваннами. Больше того, неожиданно пробудился интерес к баням, хотя они и потеряли свою — только гигиеническую — функцию. Вечерами в выходные дни они переполнены и стали своеобразными клубами, куда люди ходят ради закалки, ради удовольствия.

Писатель Анатолий Рубинов закончил «Книгу о русских банях». По историческим документам, по архивным материалам, по свидетельствам иностранных очевидцев автор рассказал о многих забавных эпизодах в истории этого своеобразного элемента культуры.

Здесь публикуется глава из этой книги, в которой рассказывается об истории бань с древнейших времен.



Банные воры водились уже в Древнем Риме (не будь их, сколько динамики потерял бы «Сатирикон» Петрония, где обобранный до ниточки юный герой вышел на улицы Вечного города совсем нагим). Из этого можно предположить, что общественные бани возникли хотя бы днем раньше, чем объявились воры в них. Впрочем, историки довольно единодушно выводят дату рождения бани. Считается, что в Европе она появилась в одно и то же время и по одной и той же причине, что «Илиада» и «Одиссея»: вследствие Троянской войны и сразу после нее.

Разрушив Трою, греки запомнили, как устроены были тамошние залы для омовений и, воротившись домой, принялись строить у себя такие же.

По-видимому, сначала они были отнюдь не роскошные. Иначе Гомер не стал бы устами странствующего Одиссея живописать поразительную роскошь банных чертогов Цирцеи — о том, как он взошел в залу, покрытую драгоценным мрамором, где он испытал приятную теплоту, о том, как нимфа удивительной красоты сливала теплую воду на его голову и опрыскивала благовониями, о том, как, упоенный ароматами, он чувствовал свое тело и дух освобожденными от всякой усталости.

Греки действительно особо не преуспели в банном зодчестве. Об этом говорят раскопки. Больше того, они, пользуясь ванной, не сумели поначалу даже придумать дырку для слива воды. В домах и гимнасиях, где занимались спортом, пользовались душем с деревянным и каменным ситечком, а из ванн воду вычерпывали. Прошло лет двести, покуда неведомый изобретатель догадался выдолбить в ванне отверстие и закрывать его при надобности затычкой.

К временам Платона греческие бани, однако, стали тоже украшаться мрамором. Для них создавались прекрасные статуи. Между прочим, знаменитая скульптурная группа Лаокоон была обнаружена именно в бане. Платон предложил учредить общественные мытейные заведения, создать для них специальные законы. Великий врач древности Гиппократ нашел, что это не только место удовольствий, это еще и, говоря нынешними словами, курорт.

Римляне же для бань не жалели ничего. Купальни, вазы, утварь делали из дорогого разноцветного мрамора, привозили из Египта темно-красный порфир. Построенные при Августе в самом центре Рима, посреди Марсова поля, бани особенно комфортны и великолепны, размером с московский ГУМ. На стенах писали «приличные месту легкие стихотворения». Одна из бань имела золоченую крышу, а вода почти всюду шла по свинцовым трубам.



Поначалу об открытии бань римлян извещал бой барабанов. Богатые люди устремлялись туда с утра. Там ели и пили, там выступали музыканты, витийствовали ораторы, читали стихи поэты. Мужчины занимались гимнастикой, фехтованием, смотрели бои гладиаторов. Сравнение с ГУМом, пожалуй, не случайно — в бане бойко шла торговля. Продавались предметы роскоши и туалета, произведения искусства. Плеск воды заглушал разговоры, и было, наверное, забавно видеть, как люди таинственно говорили на ухо о пустяках.

В термах Диоклетиана имелись даже библиотека и сады. Там было три тысячи алебастровых ванн и огромный, величиной с городскую площадь, бассейн. Но это уже позднее сооружение, построенное в 306 году. Начались же общественные бани за три века до этого. Кроме той, что построили на Марсовом поле, были они сравнительно невелики. Во времена Августа в Риме насчитывалось 865 общественных бань и еще 800 частных. Мужчины ходили туда ежедневно, иногда даже по не-

скольку раз в день. Заигрывая с плебеями, знатнейшие патриции тоже посещали общественные бани, смешиваясь с толпой простого народа. Не гнушались общественных терм даже императоры. Угождая плебсу, императоры повелели держать бани постоянно открытыми, днем и ночью, брали на себя все издержки, потому что плата была установлена низкая. Для детей вход был бесплатным всегда, для взрослых — во время празднеств. Каждый из цезарей, стараясь перещеголять предшественника, возводил мытейное заведение еще более роскошное, чем прежнее. Первые общественные бани построил богач Меценат, который любил не только поэзию. Но его здание затмили термы на Марсовом поле. Нерон возвел здание еще более пышное. Баня Тита Флавия Веспасиана насчитывала сто помещений. Император Траян позаботился наконец о женщинах — построил обширные термы для них. Он тогда не мог, конечно, подумать, сколь роковую ошибку допустил,— христианская церковь именно это имела в виду, нападая на развратный Рим и запрещая бани вообще.

Но это будет не скоро. После Тита возвел свои знаменитые термы Каракалла. Громадные их развалины сохранились, они занимают 124 тысячи квадратных метров — несколько московских ГУМов.

Три с половиной столетия подряд римляне мылись по единому порядку. В специальном зале раздевались, в холодной бане обливались водой, плавали в бассейне. Потом посетители шли в предбанник, который назывался тепидариум. Там были теплые полы, которые согревались при помощи особых печей. Затем — лакедемонский, то есть спартанский, зал. Здесь рабы натирали тела римлян лебяжьим пухом, разминали им мускулы. Скребницы и простыни простой люд приносил с собою. Следующим был зал с теплой водой. Она была и в бассейне, и в медных сосудах, которые стояли повсюду. Рабы следили, чтобы температура в них была различная. Перед выходом намывшихся гостей натирали благовониями. А по соседству были залы для игр в мяч, борьбы и прочих гимнастических занятий, а также залы речей и музыки, сады для прогулок. Туда ходили в промежутках между мытьем.

Последние термы, пятнадцатые по счету, построил незадолго до заката Древнего Рима император Константин.

Об отдаленной родословной бань остается сказать немного. О том, что христианство, ополчившись против развратного языческого Рима, начисто запретило общественные бани; они перестали существовать в Европе на многие столетия и начали потом медленно возвращаться через завоеванную арабами Испанию. Надо добавить еще, что римский обычай был и на востоке Европы, у славян,— не в верхах, а среди простого народа. Любопытно, что деревенские бани Древней Руси напоминали именно сельские бани Древнего Рима. В римских окрестностях бани ставили на берегу реки или озера, рыли ров, устраивали над ним плотный навес из ветвей. На дне рва жарко разогревали камни, их поливали водой — в горячем пару обитатели римских окрестностей терпеливо прели, а потом сигали в холодную воду. Знакомая картина...

Впрочем, существовали ли бани у славян в далекой древности — вопрос спорный. Н. М. Карамзин утверждал, что славяне мылись три раза: при рождении, перед свадьбой и после смерти. Вероятно, он ошибался: парные бани существовали еще у скифов. По словам Геродота, скифы ставили войлочные шатры, в них помещался сосуд, в него бросали раскаленные докрасна камни. Поднимался пар, и скифы, наслаждаясь, вопили от удовольствия. Правда, для мужчин пребывание в пару и составляло всю процедуру — теплой водой им обмываться не полагалось.

Из этого, конечно, нельзя делать вывод, что такое мытье — баня. Но арабский писатель XI века Абу-Обейд-Абдаллах-аль-Бакри словно спорит с Карамзиным. О древних славянах он пишет, что для мытья жители Восточной Европы устраивают себе дома из деревьев и законопачивают их мхом. В углу устраивают очаг из камней, в крыше делают отверстие для дыма. Когда очаг раскалится, дыру и двери закрывают, водой обливают раскаленные камни, и каждый стегается сухими ветвями, которые притягивают жар. Это уже баня! Хотя, конечно, неизвестно, часто ли ее посещали.

Но вот свидетельство летописца Нестора, правда весьма легендарное. Старец утверждал, что апостол Андрей Первозванный, проповедуя христианство, завернул и на Русь, видел Новгород. Там он подивился людям, которые секут сами себя в пару прутьями. Апостолу такое дело не понравилось — «сами ся мучат и тако творят не мытву себе, но мучение». Был ли апостол Андрей на Руси или не был — дело темное, но уж, во всяком случае, в годы, когда жил Нестор, то есть в двенадцатом веке, на Руси парились так, как и сейчас в Сандунах.

По всей видимости, русской их прародительницей можно считать ту, которая стояла возле Киева при Ольге. Мстя за Игоря, княгиня спалила баню, а вместе с нею запертых там лучших мужей древлян.

Велик соблазн проследить путь бань от Ольгиной до Сандунов! Рассказать то, что известно про Ефремовы бани, что построил епископ в 1089 году в Переяславле,— каменные, открытые для простого люда. Стало быть, первые общественные.

Самые лучшие русские бани были построены не на пустом месте. Издалека тянулась традиция. Еще в первых, не разрушенных в 1890 году Сандунах банной посудой была сосновая шайка с железным обручем, а для особо важных господ подавался серебряный таз. В старых княжеских и царских мыльнях утварь была проще — медный таз.

Поначалу все общественные бани были только простонародными. Ну какой же это зажиточный человек своей бани не имеет! Рядом с домом, в городской усадьбе, но и не очень уж близко. Царским указом повелевалось собственные мыльни располагать по огородам да на полых местах, чтобы пожару не сделать ненароком.

Русские бани были предназначены для омовений тела, не для развлечений. Потому их и не строили просторными, и всегда они процветали. Баню любили, в ней от всех болезней избавлялись. Про нее складные поговорки складывали: «Баня парит, баня правит, баня все поправит», «Когда бы не баня, все бы мы пропали», «Хоть лыком шит, да мылом мыт».





Иностранцы удивлялись, до чего ж на Руси, в Московии баню уважают. В книжках на своих языках про то писали или в письмах. А когда про это на Руси узнавали, тоже удивлялись, чему это пришлые люди удивляются. Не пишут же, что вот на Руси и хлеб едят, и воду пьют, а что в банях моются-парятся, интересуются.

Знаменитый путешественник Олеарий (1603—1671) утверждал, что русские в Лжедмитрии иностранца узнали хоть потому, что баню не любил, а в России нет ни города, ни села, в которой бы бань не было. Олеарий сам попарился, рассказал обо всем подробно. Как в Астрахани женскую и мужскую мыльни только легкая перегородка отделяла, однако входили все в одну дверь. И те, кто скромности больше имел, пучком ветвей закрывались, но совсем нагие женщины не стыдились с мужьями своими говорить в присутствии других мужчин. Поражался Олеарий: «Удивительно, до какой степени эти тела, привыкшие к холоду, окрепшие в нем, могут выносить жар, и при невозможности более сносить его, выходят из бани нагие и мокрые и, как мужчины, так и женщины, бросаются в холодную воду или выливают ее на себя, а зимой валяются в снегу». Олеарий отмечал, что на Руси принято угощать приезжего человека баней, как и хлебом-солью.

Хотя в России про русские бани знали все, однако же перевели с французского, издали по-русски забавную книжку, которая очень всех потешила. Называлась она, как это водилось в середине восемнадцатого века, длинно: «О парных российских банях, поелику споспешествуют оне укреплению, сохранению и восстановлению здравия, сочинения господина Сантеса, бывшего при дворе Ее императорского величества, главного медика».

В заглавии почти все правда. Действительно, при дворе Елизаветы Петровны служил португальский врач Антонио Нуньес Риберио Санхец, только не главным, а вторым лейб-медиком. О себе он рассказывает в книжке сам. Почти всю жизнь служил в России, полюбил ее и, желая под конец жизни сделать для нее что-либо полезное, решил прославить русские бани, «употребляемые ее обитателями со времен глубокой древности». Лейб-медик утверждал, что он полон искреннего стремления показать превосходство бань российских перед бывшими издревле у греков и римлян как для сохранения здравия, так и для излечения многих болезней. Португальский врач убедился, что они «приносят величайшую пользу для живущих в деревнях, по монастырям, в гарнизонах, на фабриках и заводах разного звания, где и с великим трудом не легко врачей иметь можно».

Сантес (Санхец) описывает устройство мылен. Между домовыми и торговыми банями «разность та, что при первых делается светлица, в которой ставится постель для отдохновения после, как совсем выпарятся, а в торговых сего нет». А дальше все известные подробности, как, раздевшись донага, влазят на полок, как устроена каменка, как пар умножается, как ветвями березовыми секут себя, окачиваются студеной водой или купаются.

Потом идут способы лечения баней разных болезней: «Могу доказать, когда надобно, что баня российская, конечно, заступает место двух третей лекарств, описанных в врачебной науке и в большей части аптекарских сочинений». Приезжий лейб-медик не сумел утаить и свою досаду: он скорбел, что столь полезные учреждения находятся в руках откупщиков, которые, помышляя единственно о своей корысти, совсем не радеют об истинной пользе народа. Он советовал разрешать бани только с ведома полиции и каждый раз при этом посылать особого архитектора для отвода места и указания способа постройки. Или составить образцовые чертежи (вот как, типовой проект!), которые должны быть настолько ясны, чтобы по ним и неученый человек мог руководить постройкой бани.

Советы Санхеца (Сантеса) весьма разумны (к ним прислушаются спустя 125 лет, в конце XIX столетия): строить бани из тесаного камня или кирпича, так как деревянные скоро сгниют от пара и мокроты, с высотой не меньше четырех с половиной аршин. Пол же должен быть отлогий, чтобы грязная вода быстрее стекала.

И все-таки о русских банях в Европе узнавали не из книжек. Как и во времена Гомера, после войны. Собранные со всей Европы наполеоновские солдаты, прошагав до самой Москвы, всюду обнаруживали диво дивное — парное мытье. Оно им очень пришлось по душе. Наверное, больше всего в те зимние, метельные дни отступления, когда их преследовало кутузовское воинство.

Чистоплотные немцы первыми переняли жаркие русские бани, стали у себя устраивать такие же. Впрочем, не очень такие — помешала природная бюргерская скромность и брезгливость. Уже два года спустя после войны 1812 года в Берлине появились «Русские горячие парные бани Пахмахера». И топили там до одури, и чистоту навели, а желающих мыться поначалу было очень мало.

Потом вдруг дело пошло. Правда, без веничка — уж очень дух занимало, и не нашлось человека, который бы показал, как хлестаться, чтобы и красным сделаться, и больно не стало. Потом «Русские горячие» по всей Германии пошли: появились в Веймаре, Гамбурге, Галле, Дрездене. Даже во Франции и Швейцарии. Правда, с усовершенствованиями. Они-то все и погубили.

Стыдливость взяла верх — не шел немец в общие бани, придумали парные кабинеты. Вместо деревянного полка со ступенями — чем выше, тем жарче — сделали паровой чан. Полотняный, из непромокаемой ткани, был он похож на платье колоколом до самого пола. Только голова из него видна. Затягивалась та персональная баня шнурком у шеи, а в колокол пар нагонялся. Шел от кастрюли, которая согревалась на спиртовой лампе.

Потом еще немножко улучшили: треножник внутрь колокола поставили. Сиди в своей бане на свежем воздухе с открытой головой, а тело твое в пару красным жаром наливается. Хорошо! Да не очень...

Тогда еще лучше сделали: комод с дыркой для головы. Комод просторный, в нем шезлонг наподобие нынешней раскладушки с поднятой спинкой. Дырка в комоде материей обита, чтобы шею о дерево не царапать и чтобы пар не выходил. Так вот и парились лежа, с головой наружу. Поставят десяток комодов, десять голов торчат, как в цирке на фокусах. Спокойно говорить с соседним комодом можно. Говорить можно — париться нельзя...

Доктор Карл Фрех понял, что не годится такое. Неподвижный пар трудно вынести, другое дело, когда веником нагоняешь его на себя. И в Бадене он открыл почти настоящие русские бани под названием «Гирш». Доктор постарался. Сделал все по правилам: и предмыльную, где раздеваются, и мыльню, и парную. Да еще бассейн как в Древнем Риме. И душ как в Древней Греции. Русско-римско-греческие бани.

Лиха беда начало: сходные с «Гиршами» бани стали строить во многих германских городах. А тут еще пошел слух о том, что ирландский врач Рихард Бартер в Турции бани интересные видел, срисовал и точно такие же у себя на родине построил. Там было все как в русских, только без парной, а вместо

нее — бассейн. И еще массаж. Всем понятно было — римские бани и есть. Так появились ирландско-турецкие бани.

Сначала в Европе с удивлением открыли русские бани, теперь пришла пора поражаться турецким. Оказалось, в Константинополе 300 бань. Общественных — в больших каменных зданиях с куполами, в них отверстия — оттуда свет. Фонтаны, мраморные колонны. Тюфяки с одеялами. Богатых гостей раздевают, окутывают с головой цветными простынями, дают ходули, чтобы не обжечь ноги о горячий мрамор. Мыться не спешат — обвыкают, беседуют, играют в шахматы или карты. Идут плавать в бассейн. Потом за дело берется банщик, трет не жалеючи жесткой шерстяной рукавичкой, хлопает ладонью по всему телу, дергает пальцы, мнет суставы, затем вскакивает на спину, прыгает на коленях.

Такое суровое мытье выдержать не просто, но воспитанный человек не стонет и не кряхтит: потом отдышится, удовольствие почувствует. В сопровождении банщика измученный посетитель на ходулях идет к тюфяку. И спит. Долго. Сколько захочет. Потом выпьет густого турецкого кофе, съест шербету, запьет лимонадом, закурит кальян.

Английская путешественница леди Монтегю рассказала, как мылись полтораста лет назад турецкие женщины. Даже самый суровый турок отпускал свой гарем в бани. Жены его с радостью шли туда. Там затворницы развлекались — настоящий женский клуб. Отправляясь в бани, наряжались получше, встречали там своих подруг, толковали, рассказывали новости.

Леди Монтегю увидела в бане сразу двести турчанок. Она была потрясена: совершенно нагие, прелестные, с распущенными волосами, только в жемчугах. Некоторые занимались рукодельем, другие пили кофе, ели сладости, третьи небрежно возлежали на мягких подушках, а их юные невольницы заплетали им косы.

Сколько в ту пору на всех европейских языках книжек про баню вышло! В одних рассказывалось про ее устройство, в других про ее полезность. Повсюду строили мытейные заведения. В Англии появились акционерные бани и бани, строенные по подписке. И конечно, клубные посетители в них баллотировались по всем правилам английской демократии. То была большая честь — пройти в фешенебельный банный клуб, в котором, кроме русской парной и ирландско-турецкой бань, почти как в римскую старину, стали устраивать читальню, курительную, даже бильярд и ресторан.

Мода на баню в Англии повелась в сороковых годах прошлого века, во Франции — в следующем десятилетии. Национальное собрание в 1850 году объявило, что оно дает министерству торговли и земледелия кредит в 600 тысяч франков специально для постройки народных бань. Расцветал банный промысел в Бельгии, Австро-Венгрии...

И расцветала банная наука. Пожалуй, неудивительно, что она быстрее развивалась там, где бани только что возникли, — надо было выяснить, полезно ли пользоваться ими и как лучше. В России же существовал давний обычай, проверки не требовалось. Но когда стали приходить вести о моде на русские бани и когда в самой России их стали уважать пуще прежнего, в Москве и особенно в Петербурге стали по всем правилам науки вести банные опыты, исследовать влияние пара на организм, проверять, какие болезни он выгоняет, а каким вредит. Сначала проверяли народные способы лечения, многое после изучения оказалось верным и полезным. Однако же далеко не все. Исследования, как и все в ту пору, проводились неспешно. В последнюю четверть века прошлого столетия в Москве и Петербурге было защищено девятнадцать солидных докторских диссертаций. Хотя предмет изучения и некоторые способы исследования настраивают на шутливый лад, диссертации эти многое прояснили, утвердили, ответили и кое в чем до сих пор служат надежным источником сведений о медицинской роли бани.

Были открыты важные свойства кожи и доказано, зачем ее надо держать в чистоте. То, что теперь совершенно ясно всем, сто лет назад и даже семьдесят вызывало насмешку в тех странах, которые повсюду считались цивилизованными. Знаменитый немецкий врач, основатель «Немецкого общества народных бань» Лассар, паста которого продается в любой современной аптеке, сообщал, что две трети сельского населения Германии обходится вообще без бань, а в некоторых местностях на каждого жителя приходится одно купанье на 38 (!) лет. Реже, чем, по Н. М. Карамзину, у древних славян, поскольку к 38 годам тот мылся, по крайней мере, дважды: после рождения и перед свадьбой...

Ученые отмечали благотворное действие бань на кожу. Было доказано, что влажная русская баня выделяет из организма 900 граммов пота, не в пример сухой ирландской, которая наносит потери большие и отнюдь не безопасные. Русская баня не ослабляет организм, наоборот, укрепляет. Резкие переходы от тепла к холоду закаливают кожу, а римско-ирландско-турецкие ванны изнеживают человека, делают его чувствительным к атмосферным переменам. Под влиянием парной грудная клетка расширяется. «Мытье мочалками из липового лыка открывает поры, возбуждает нервные окончания, улучшается питание тканей, устанавливается гармония жизненных сил, сообщает гибкость и легкость движениям мышц и сочленениям». Дается импульс кровообращению. Хорош, конечно, и массаж. После него «моющийся чувствует себя обновленным, всякий род стеснения и усталости рассеивается. Получивши гибкость, необыкновенную легкость, вымывшийся считает себя помолодевшим и испытывает общее довольство, которое трудно выразить». А что касается парения, то оно, усиливая прилив крови к поверхности кожи, служит превосходным отвлекающим средством и с успехом действует на многие болезни.

После бани советовалось завернуться в простыню, полежать, остынуть, вытереться досуха и только тогда одеваться. А дома надо выпить чайку, а в бане холодного — воды ли, квасу — не пить. Лучше всего посещать баню в полдень не с полным желудком, но и не с пустым.

Но уже тогда советовали не лечиться баней по собственному усмотрению. Во избежание вреда пусть врач пропишет баню, если не запретит ее, поскольку «мы сами для себя никогда не можем быть врачами».



Рис. С. ТЮНИНА

Главный редактор А. А. НОДИЯ

Редакционная коллегия: В. А. АКСЕНОВ, В. Л. АРТЕМОВ, Я. Л. БОРОВОЙ, С. М. ГОЛЯКОВ, А. С. ГРАЧЕВ, Ю. А. ДЕРГАУСОВ, С. А. КАВТАРАДЗЕ, В. Б. МИЛЮТЕНКО, В. П. МОШНЯГА, Д. М. ПРОШУНИНА (зам. главного редактора), Б. А. СЕНЬКИН, В. Г. СИМОНОВ (ответственный секретарь)

Художественный редактор Е. А. Гричук
Оформление И. М. Неждановой
Технический редактор А. Т. Бугрова

Адрес редакции: 125015, Москва, ГСП, Новодмитровская ул., 5а. Телефон 285-89-78. Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на ежемесячник.

Сдано в набор 12.04.83. Подп. к печ. 12.05.83. А00114. Формат 84×108[1]/[16]. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,36. Уч.-изд. л. 5,6. Тираж 900 000 экз. Цена 35 коп. Заказ 570.

Издательство и типография «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.







Вы спрашивали

Перед вами, читатель, обложка пластинки с записями итальянского певца Адриано Челентано, выпущенной недавно Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» по лицензии фирмы «CLAN» (это, кстати, третья вышедшая у нас лицензионная запись Челентано). «Ровесник» получает много писем с просьбой рассказать о планах «Мелодии» по выпуску лицензионных записей. Ответить читателям мы попросили старшего редактора фирмы М. Шапиро:

«В последний раз мы встречались с читателями «Ровесника» в № 12 за 1981 год, поэтому для начала расскажу о некоторых пластинках, выпущенных «Мелодией» в конце 1982 — начале 1983 года. Так, по лицензиям гамбургской фирмы «Polydor» мы издали «Торжественную мессу ре мажор» Л. Бетховена; «Симфонию № 9» Г. Малера; моцартовские концерты для фортепьяно с оркестром в исполнении пианиста М. Поллини и Венского филармонического оркестра. Для любителей эстрады мы приобрели у этой же фирмы пластинку «Памяти Берта Кемпферта», на которой записаны лучшие произведения оркестра под его управлением; пластинку оркестра Джеймса Ласта «Будьте счастливы». У французской фирмы «Pathe Marconi» мы купили пластинки певцов Ива Дютея, Наны Мускури, Жильбера Беко. Тем, кто любит джаз, предназначены записи блистательного джазового скрипача старшего поколения Стефана Граппелли (фирма «Metronome», Гамбург); побывавшего недавно в СССР американского пианиста Чика Кории (ECM, Мюнхен); трубача Фреда Хаббарда (MCA, США). По лицензии фирмы «Ariola-Eurodisc» мы выпустили пластинку известного западногерманского певца Удо Юргенса.

Что же касается новинок, достаточно сказать, что в общей сложности в 1983—1984 годах «Мелодия» собирается выпустить около 80 лицензионных пластинок. Назову некоторые из тех, что выйдут в ближайшее время. Это пластинка композитора и гитариста А. Сеговия (английская фирма EMI); у этой же фирмы мы купили прекрасную запись вальсов И. Штрауса; четыре пластинки, на которых записаны концерты В.-А. Моцарта. «Polydor» предоставил нам право выпуска пластинки итальянского пианиста А. Б. Микельанджели. Он играет мазурки Ф. Шопена.

Любители эстрады смогут познакомиться с творчеством гитаристов Эла ди Меолы, Джона Маклафлина и Пако де Лусии, которые втроем записали на фирме «Phonogram» пластинку «В пятницу вечером в Сан-Франциско». У этой же нидерландской фирмы мы купили и сольную пластинку очень популярного у нас Пако де Лусии. Этот диск называется «Андалузские мелодии». У «Ariola-Eurodisc» приобретены две пластинки джазового пианиста Каунта Бейси. Скоро выйдет первая пластинка серии «Звезды дискотек», на которой записаны лучшие рок-музыканты мира. Надо сказать, что нидерландская фирма CNR в отличие от всех перечисленных выше дала нам право выпускать этот диск без ограничения тиража. Так что мы надеемся полнее удовлетворять и запросы любителей рок-музыки».

Индекс 70781
Цена 35 коп.